

ISSN 0130-3600

საქართველოს
ლიტერატურის



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

5

1987

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

04.1935940
1024.111033

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ — 150

- ИОСИФ ИМЕДАШВИЛИ. Радетьель отчизны . . . 3
ЗАИРА СТУРУА. «Дружески приветствую
Вас из древней Колхети» 12

ОЧЕРК

- МИРОН ХЕРГИАНИ. Скорбь Жамуши. Пере-
вод Роберта Златкина 16

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

- КАРЛО КАЛАДЗЕ. Стихи. Перевод Еле-
ны Николаевской 28
Красота и духовность. (К юбилею Беллы Ах-
мадулиной) 215

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ТИНА ДОНЖАШВИЛИ. Гонджаура. Роман.
Окончание. Перевод с грузинского . . . 32
ГАВРИИЛ ТРОЕПОЛЬСКИЙ. С болью и на-
деждой—господину Рейгану. Стихи. . . 117
РЕВАЗ МИШВЕЛАДЗЕ. Новеллы. Переводы
с грузинского 128

5

1987

| | |
|-------------------------------------|-----|
| НУГЗАР ШАВГУЛИДЗЕ. Доброта . . . | 170 |
| ДИНА КОВДА. В кружении вечном . . . | 175 |

О ТЕХ, КТО КОВАЛ ПОБЕДУ

| | |
|--|-----|
| МАИЯ НЕМИРОВА. На реке Тим. Глава из книги «Крутые ступени жизни» . . . | 186 |
|--|-----|

РЕЦЕНЗИИ

| | |
|--------------------------------------|-----|
| МИХАИЛ БУЯНОВ. Дорога мужества . . . | 210 |
|--------------------------------------|-----|

| | |
|-------------------|--------------|
| ХРОНИКА | 31, 116, 224 |
|-------------------|--------------|



Иосиф ИМЕДАШВИЛИ

РАДЕТЕЛЬ ОТЧИЗНЫ

В моей памяти навечно запечатлелся неповторимый образ Ильи Чавчавадзе.

Он был среднего роста, плотный, с хорошей осанкой, хмурый, даже угрюмый, весь ушедший в свои мысли, предельно собранный, с пронизательным взглядом... Всегда в сюртуке, котелке, с тростью в руках.

В редакции газеты «Иверия» я много раз видел Илью, часто слышал его речи и споры в публичных собраниях; спокойные, неторопливые, обдуманые, они производили неизгладимое впечатление на слушателей. Для людей моего поколения Илья был олицетворением истины — бесспорной и абсолютной; выдающийся деятель, писатель-мыслитель, радетель отечества, его мысль, слово и воля были законом для всех.

Человек с огромными знаниями, энциклопедист, Илья был блестящим знатоком прошлого и настоящего, провидцем будущего.

В последнее десятилетие минувшего века я сотрудничал с редакцией газеты «Иверия». В тот период там работали Г. Кипшидзе, А. Ахназари, Д. Микеладзе, Ия Экаладзе, Иванэ Ахалшенишвили, Илья Агладзе, Г. Ласхишвили и другие. Я публиковал в газете короткие информации (часто неподписанные), стихи, рассказы и прочее. В частности, здесь были напечатаны отрывки из моего романа (первого грузинского сатирического романа) «Аах-ваах» под псевдонимом Усуп-умут-оглы.

Стихи, публикуемые в газете, редактировал в основном Илья. Сотрудники знали: если Илья не даст

Имедашвили Иосиф Захарьевич (1876—1952) — известный писатель и общественный деятель, современник Ильи Чавчавадзе.

Отрывки из воспоминаний.

согласия, даже набранное стихотворение не будет напечатано (а тогда это не было общим правилом).

Первыми с каждым поступившим произведением знакомились секретари редакции Г. Кипшидзе, А. Ахназари, а затем материал поступал к Илье. Он был очень взыскателен и строг в вопросах чистоты языка. Свои произведения он правил так тщательно, что, как говорили наборщики, «первая корректура отличалась от последней, как небо от земли». Даже торговые объявления и хронику Ильи не пропускал без того, чтоб тщательно не отредактировать их.

Состав редакции газеты «Иверия», созданный и руководимый Ильей, был своеобразной академией грузинского языка.

Илью отличали особая вежливость, уважительность в обращении с авторами и сотрудниками. Если материал ему не нравился, он отклонял его, стараясь не обидеть автора: «Это нам не подойдет, принесите что-либо другое», — говорил он. Очень доброжелателен был он по отношению к начинающим писателям, всячески поддерживал их.

Расскажу такой эпизод: в № 1 «Иверии» за 1898 год было опубликовано мое стихотворение в прозе «Новый год?!». Каково же было мое удивление, когда на первой полосе того же номера я прочел передовую статью, перекликающуюся по содержанию с моим стихотворением. Как выяснилось, передовую написал Илья. Вероятно, общая атмосфера того времени обусловила то, что каждый из нас в отдельности взглянул на проблему под одним и тем же углом — он, выдающийся писатель, общественный деятель, и я, обыкновенный человек.

Но дело не в этом, а в великодушии Ильи как редактора, в его терпимости. Ведь мог же он, увидев, что мое стихотворение повторяет его мысли, не пропустить его. Но Илья не позволил себе этого, он дал возможность высказаться и мне, молодому автору.

В девятисотые годы распространился слух, что Ильи собираются справлять юбилей. К этому времени были изданы пять книг Ильи, каждая стоимостью в 1 рубль 20 копеек, что делало их не такими уж и доступными простому читателю. В тот период я зани-

мался прогрессивными народными изданиями и решил издать поэмы Ильи для народа. Но для этого надо было получить согласие автора. Я несколько раз побывал в редакции «Иверии», в банке, в Обществе по распространению грамотности среди грузин, но нигде Илью не застал. Я сказал об этом Якобу Гогешвили и Шио Мгвимели.

— Верно, он закрылся и работает, — сказали оба. Тогда я обратился к супруге Ильи.

Как-то раз, когда я в очередной раз пришел в редакцию, владелец типографии «Иверии» Максим Шарадзе сказал мне:

— Вас спрашивала княгиня Ольга.

Квартира Ильи находилась недалеко от редакции «Иверии» (на нынешней улице Калинина).

Меня провели через коридор в просторную залу—приемную. Слева, возле завешанной длинной бархатной портьерой двери, с книгой в руках сидела княгиня Ольга.

Илья, помимо повара и камердинера, держал еще и других слуг, но постоянно при нем находилась всегда сама княгиня Ольга.

Она поднялась ко мне навстречу:

— Батоно Йосэб, я передала Илье вашу просьбу о встрече, он ждет вас, — с этими словами она повернула ключ в двери, возле которой сидела, и впустила меня.

Я вошел и застыл на месте, поскольку стал свидетелем необычной картины.

Илья лежал на полу и, опираясь на стоявшую у левой стены кушетку, покрытую спускающимся со стены ковром, увлеченно писал. По одну сторону от него лежала стопка чистой бумаги, по другую — исписанные листы, вокруг в беспорядке — раскрытые или с заложенными страницами книги. Я обвел комнату взглядом: прямо напротив стоял низкий стол, за которым можно было писать только стоя на коленях, рядом — обычный стол с приставленным к нему стулом, справа от меня, у стены, — высокая конторка, наподобие церковной кафедры, за которой можно писать лишь стоя. На каждом столе лежали с одной стороны стопки чистой бумаги, с другой — исписанные листы, раскрытые книги и письменные принадлежно-

сти. Все было приспособлено для непрерывной работы. Видимо, Илья устал писать в одном положении и тогда переходил от стола к столу, а может быть на каждом столе лежала какая-нибудь определенная работа.

У меня перехватило дыхание, я остро пожалел, что побеспокоил Илью. Но уйти уже не мог — дверь за мной плотно затворилась.

Спустя какое-то время Илья отложил перо в сторону и взглянул на меня. Я поздоровался с ним, он пожал мне руку и сказал:

— Простите, что не мог вас принять и заставил ждать.

Он указал на стул и, когда мы сели за круглый мраморный стол, спросил:

— Чему обязан?

— Извините за беспокойство, может быть я не вовремя?...

— Не стоит извиняться, вы ведь без дела не пришли бы.

— В скором времени должен состояться ваш юбилей...

— Мой юбилей?! — он удивленно взглянул на меня. — Я не тот человек, кому справляют юбилей. Кому следовало, тому уж справили 50-летие.

— Вы, верно, имеете в виду Рафиэла Эристави. Но наша страна не забывает и других своих достойных сынов.

— Что же вам угодно? — Илья слегка нахмурился.

— Изданные ваши книги настолько дороги, что недоступны простому люду, и потому я прошу у вас разрешения издать ваши поэмы отдельной книгой, только эти книги будут раздаваться народу бесплатно.

— Бесплатно? — он удивленно воззрился на меня. — Разве бумага, типография не потребуют никаких затрат?

— Разумеется...

— Кто же будет нести эти расходы?

— Мы покроем их за счет других изданий.

— Сразу видно нерасчетливого, непрактичного транжиру-грузина! Работать — работаете, а о расходах и доходах не думаете, — сказал он с едва заметной улыбкой.

из-
304135340
3032110933

— Мы положим ту цену, в какую обойдется издание.

— Нет, так не годится. Если основной капитал не принесет хотя бы малой толики дохода, это не дело!

— Мы с этим как-нибудь справимся, лишь бы вы дали согласие.

— Безусловно, это ваше дело, и идея ваша хороша — сделать книгу доступной для простого люда. Но право на издание моих произведений принадлежит уже не мне, а управляющему Грузинским товариществом книгоиздателей. Он купил право на издание моих книг за шестьсот рублей. Правда, не дал еще ни копейки, но я не могу нарушить слово.

— Но ведь издательство уже нарушило его, не заплатив вам! И вы вправе распоряжаться своими произведениями, как найдете нужным.

— Как, по-вашему, правильно поступил управляющий товариществом, нарушив условия договора?

— Разумеется, нет! Он поступил непорядочно, недостойно!

— И вы советуете мне поступить так же непорядочно и недостойно и нарушить данное слово?

Он произнес это таким тоном и так посмотрел на меня, что я онемел: как я мог предложить ему такое, как земля не разверзлась у меня под ногами.

Видимо, Илья заметил мое смятение и, смягчившись, сказал:

— Ваша идея очень благородна. Нужно, даже необходимо распространять избранные произведения нашей литературы среди простых людей, нельзя же воспитывать их только на лубочных изданиях. Помимо моих книг маленькими изданиями должны издаваться и другие... Но за разрешением на издание моих книг будьте добры обратиться к управляющему товариществом. Быть может, он не будет возражать. Я же не только не возражаю, но буду вам весьма благодарен за это.

Мне хотелось поговорить с ним еще о многом, но, видя его занятость, я извинился еще раз и простился. Илья проводил меня до дверей, слегка стукнул в нее ногой, она тут же открылась. На прощанье он пожал мне руку и пожелал удачи.

Я вышел ошеломленный.

...Управляющий товариществом так и не дал мне никакого ответа. Я не мог издать поэмы И. Чавчавадзе, и юбилею его не суждено было состояться из-за происков правительства.

30 августа 1907 года я находился в редакции еженедельного журнала Валериана Гуниа «Нишадури». К вечеру пришло известие, громом поразившее всех: «Убит Илья!».

Эта весть мгновенно облетела город. Всеобщее горе охватило людей. Все устремились к зданию, где находилось Общество по распространению грамотности, и театру, чтоб узнать правду.

...Якоб Гогобашвили был совершенно раздавлен, Давид Кричашвили весь трясся и в глазах его застыл ужас, Валериан Гуниа разом осунулся... Казалось, солнце навеки погасло для нас... Смелое, уверенное выступление Ильи в Государственном совете, выступление от имени всего грузинского народа, а не только дворянства, всполошило и мобилизовало лагерь черносотенцев. Злобные ядовитые нападки на Илью наводнили определенную часть грузинской прессы, тучи над ним сгущались, но такого конца никто не ждал.

Неожиданное убийство Ильи не только ошеломило, но и отрезвило всех.

В тот же день в редакции «Нишадури» я написал стихотворение, в котором выразил скорбь по поводу гибели Ильи, и передал его Валериану Гуниа. Это стихотворение было напечатано под псевдонимом Орини на первой полосе четвертого номера «Нишадури» за 1907 год.

Торжественные похороны Ильи вылились в манифестацию единства и сплоченности грузинской общечественности. Но враги не дремали: в благодатную почву невежественных умов в обилии изливался яд...

В августе то ли 1925, то ли 1926 года я сошел с поезда на станции Цагвери и, выйдя из вагона, услышал, что меня зовут:

— Батоно Иосэб, батоно Иосэб!

Я оглянулся. На соседних путях стоял поезд, следующий из Бакуриани, у перил открытого вагона стоял

Нико Николадзе, который после приветствий сказал мне:

— Я никак не смог повидать Павле Ингороква. Прошу вас, пожалуйста, передайте ему, чтоб он не мешкая возвращался в Тбилиси, иначе задержится выход в свет тома произведений Ильи.

— С большим удовольствием передам. Я вам сочувствую — в такую жару ехать в Тбилиси, город пышет зноем.

— О какой жаре может идти речь, когда дела призывают!

— Батоно Нико, это прекрасно, что вы печетесь об издании произведений Ильи, но когда же мы увидим ваши сочинения...

— Сегодня народу требуется написанное Ильей... Его произведения сделают гораздо большее дело, нежели мои... Илья должен восстать!

Поезд тронулся, но Нико все-таки успел прокричать мне:

— Так не забудьте мою просьбу — пусть Павле Ингороква побыстрее возвращается в Тбилиси.

Его слова запали мне глубоко в сердце, и я почувствовал еще большую любовь, еще большее уважение к двум гигантам — Илье и Нико, двум великим патриотам и подвижникам.

В течение июля—августа 1924 года под эгидой издаваемого мной журнала «Тэатри да цховрэба» («Театр и жизнь») я проводил лекции-вечера. Темой лекции было — «Демократия и искусство в связи с текущими вопросами». Вместе со мной выступали певица Гугули Гватуа-Эбралидзе и музыкант, игравший на чонгури, Александрэ (Саша) Оганезашвили. Лекции-вечера мы провели в Сигнахи, Гурджаани, Велисцихе, Телави. Посетили мы и родину Ильи Чавчавадзе — Кварели.

Вечер должен был состояться в бывшем марани Ильи, который был переделан в клуб. Я осмотрел башню, где родился Илья, ныне в ней находилось книгохранилище. На стенах висели картины. К своему

¹ Выдающийся грузинский ученый, в то время издававший собрание сочинений Ильи Чавчавадзе.

удивлению, я нигде не увидел ни портрета Ильи, ни его книг.

Не скрывая недоумения, я сказал об этом местному устроителю вечера, педагогу.

Прикрыв рот ладонью, он вдруг шепнул мне:

— Не упоминайте Илью, не то...

— Не то что?..

— Вечер будет испорчен!..

Мрачные мысли охватили меня: побывать в Кахети, в родном селе Ильи, выступать в его марани, говорить о демократии и искусстве и ни словом не обмолвиться о нем самом?!

Вечером клуб-марани был полон народу. Ждали моего выхода. А я был все еще во власти черных мыслей... Ко мне приблизился один из устроителей. Пора начинать, сказал он, в зале волнуются.

Раздвинулся занавес. Я вышел из-за кулис и тяжелым шагом направился к авансцене:

— Со смирением ступаю по земле, по которой некогда ходил великий радетель нашей отчизны...

Только я произнес эти слова, как все присутствующие вскочили на ноги и восторженно закричали: «Слава Илье! Слава Илье!».

Сердце мое радостно забилось, и речь полилась свободно...

Под конец — аплодисменты, радостные крики и цветы...

...Какой-то период я работал секретарем комитета персональных пенсионеров и его шефского сектора. Ко мне приходили большей частью пенсионеры со своими жалобами и просьбами. Некоторые являлись и домой, видимо, рассчитывая на то, что в домашней, непринужденной обстановке им будет проще убедить меня в основательности своих законных, а в некоторых случаях и незаконных претензий. Одно из таких посещения я запомнил навсегда, оно никогда не изгладится из моей памяти.

Рано утром кто-то постучался в дверь моего дома на Мтацминда¹. Я открыл дверь и увидел перед собой

¹ Один из старинных районов Тбилиси, расположенный по склону Мтацминда.

очень высокого, очень худого усатого мужчину. Я пригласил его войти, и мой гость, войдя, немедленно приступил к делу:

— Имедашвили, дорогой, ты должен помочь мне, мои заслуги ни во что не ставятся, я в обиде, некоторые получают высокие пенсии, а я что?

— Какие у вас заслуги? — спросил я.

— Что значит какие, разве ты не знаешь, что я убил Илью Чавчавадзе?..

Я чуть дара речи не лишился, во рту пересохло, мне показалось, что я брежу или ослышался...

— Простите, как ваша фамилия и имя?

— Гигла Бербичашвили... Вот этой рукой я стрелял в него из берданки...

Я похолодел. «Дожили! Грузин хвастает тем, что убил Илью, еще и награды требует!» — думал я и молчал, не в состоянии ничего сказать. Он же, видимо, полагая, что я в уме подсчитываю, какая пенсия ему полагается, продолжал:

— Имедашвили, дорогой, посодействуй!..

Я все еще не знал, что мне делать дальше. Убийца Ильи сидел у меня дома, слов его, кроме меня, никто не слышал, и он всегда мог от них отказаться. Чего только не перевидал я на своем веку, и на войне был, и стреляли в меня, но такого потрясения никогда не испытывал. Наконец я решил вынудить его повторить сказанное при каком-нибудь должностном лице и поэтому как бы в раздумье проговорил:

— Этого я сам сделать не могу...

— Так скажи, к кому пойти?

— К Шалве Элиава. Если он напишет комиссару, дело сделается быстро.

На том мы и расстались.

Через день Гигла Бербичашвили в ярости прибежал в пенсионный отдел и набросился на меня с упреками:

— К кому ты меня послал, Имедашвили? Может, этот твой Элиава хочет, чтоб я ему и вторую ногу оторвал? (Элиава хромал на одну ногу). Он мне отказал! Но я этого так не оставлю! Мне есть к кому обратиться! Вы только дайте мне справку...

Впоследствии Артем Габуния рассказывал:

— Присланный тобой Бербичашвили ворвался прямо к Шалве Элиава: «Товарищ Элиава, я в обиде скажите там, чтоб мне пенсию прибавили, я ведь Илью Чавчавадзе убил!».

— А кто тебе поручал убивать его? — Шалва Элиава встал, приблизился к Гигле Бербичашвили и ударил его кулаком в лицо.

Как известно, дело Гиглы Бербичашвили было рассмотрено, и он получил по заслугам.

Слухи, распространившиеся в связи с поимкой подлинного убийцы Ильи, еще раз взволновали нашу общественность.

Убийца, взявший такой тяжкий грех на душу перед нацией, видимо, осознал-таки значение Ильи, потому что в своем последнем слове сказал: «Не оскверняйте моей грязной кровью светлую память Ильи».

Вероятно, пройдет еще немало времени, прежде чем все мы полностью осознаем истинное значение Ильи Чавчавадзе.



Заира СТУРУА

«Дружески приветствую Вас из древней Колхети»...

ФАМИЛИЮ итальянского гольдониста доктора Эдгардо Мадалены я прочла впервые в материалах, присланных мне из библиотеки Дома Гольдони, во второй раз — в книге Ш. Гозалишвили «Илья Чавчавадзе и зарубежные друзья» грузинской культуры». Тут же упоминался и другой итальянец — известный писатель Гульельмо Пасиль, совершивший в начале нынешнего века путешествие по Кавказу. Свои впечатления от поездки он описал в большом литературно-историческом очерке «Кавказ», который был опубликован в «Нуова антолоджия» 16 августа 1900 года. В нем между прочим он упоминает Шота Руставели и его поэму «Витязь в тигровой шкуре».

Будучи на Кавказе, Пасиль познакомился с Ильей Чавчавадзе. Часть упомянутого очерка, касавшуюся Грузии (вместе с портретом И. Чавчавадзе, оригинал которого был подарен автору очерка самим Ильей), он выслал грузинскому поэту. Ныне она хранится в фондах библиотеки Тбилисского университета, а письмо Гульельмо Пасиля Илье Чавчавадзе, написанное на французском языке (кстати, ответ на него еще не найден) хранится в Институте рукописей имени К. Кекелидзе. Обо всем этом говорится в книге Ш. Гозалишвили, поэтому я лишь кратко касаюсь моментов, имеющих отношение к нашей статье.

Естественно, мой интерес прежде всего вызвал очерк Гульельмо Пасиля, но, к сожалению, и в Доме Гольдони (Венеция) хранился лишь отрывок из него. Нам любезно посоветовали обратиться в венецианскую библиотеку Марчана. Известный картвелолог Луиджи Магаротто по нашей просьбе занялся поисками очерка. Ему удалось обнаружить очерк, и в прошлом году он выслал нам его ксерокопию. Работа Пасиля содержит очень интересные сведения о Грузии тех времен и было бы целесообразно перевести ее на грузинский язык и напечатать полностью.

Гульельмо Пасиль в своем очерке писал: «Во второй половине XIX века в Грузии наметилось определенное интеллектуальное движение. Душой и умом этого движения был Илья Григорьевич Чавчавадзе, с которым мне неоднократно доводилось обстоятельно беседовать. Грузины очень высоко ценят его, поскольку он не только поэт и романист — свое образование и глубокое знание экономических дисциплин он ставит на службу своим современникам. Он учредил и поднял на высокий уровень дворянский банк... а также постоянно действующий театр в Тбилиси, в котором дважды в неделю даются представления как грузинских, так и иностранных авторов. 14 января нынешнего года в Тифлисе состоялся большой праздник по случаю 50-летия театра...»

С этим очерком, опубликованным в «Нуова антолоджия», по всей вероятности, ознакомился гольдонист Эдгардо Мадалена, приглашенный читать курс лекций по итальянской литературе и искусству в венскую Академию экономики. В то время ученый работал над составлением библиографии «К. Гольдони за пределами Италии», и, естественно, по прочтении этого очерка (в котором упоминался и К. Гольдони) он обратился с письмом к Илье Чавчавадзе, 28 ноября 1900 года Эдгардо Мадалена послал ему из Вены письмо (рукопись на итальян-

ском языке хранится в Институте рукописей имени К. Кекелидзе, фонд Ильи Чавчавадзе, № 489), в котором пишет:

«...Мое внимание привлекли в особенности те строки, где речь идет о театре. Это место я прочел с искренним удовлетворением, поскольку в вашем крае столь известно имя Гольдони, автора, которому я на протяжении стольких лет посвящаю свой малый талант...» Затем он обращается с просьбой известить его о переводах и постановках пьес Гольдони в Грузии и выслать афиши и программы. Мадалена пишет: «...По получении от Вас ответа, сочту за честь предложить Вам кое-что из моих трудов в знак признательности и уважения к Вам...»

Как видно из этого письма, по получении ответа от Ильи Чавчавадзе Мадалена собирался «послать кое-что из своих трудов». Можно предполагать, что это было первое письмо Ильи, но не последнее. Думается, переписка должна была продолжиться (это предмет будущих исследований).

Известно, что во второй половине XIX века в Грузии ни одна проблема общественной жизни не решалась без участия Ильи. Он принимал всех зарубежных гостей и содействовал всем, кто проявлял искренний интерес к литературе или культуре нашей страны — будь то путешественник, писатель или ученый. В данном конкретном случае речь шла о театре, душой и основателем которого, как впрочем и других общественных начинаний в Грузии того времени, был Илья. Я приступила к розыску ответного письма Ильи, уверенная, что он не мог не откликнуться на послание Мадалены.

Письмо Эдгардо Мадалены касалось перевода и постановки на сцене пьесы К. Гольдони «Ворчун-благодетель».

Пьесы К. Гольдони, несравненного мастера остроумного сюжета и напряженнейших коллизий, не могли не привлечь к себе внимания Иванэ Мачабели, блестящего переводчика Шекспира, внесшего огромный вклад в дело развития грузинского театра. В 1879 году он действительно перевел эту пьесу К. Гольдони, и 14 ноября того же года она была поставлена на сцене тбилисского летнего театра (рукопись перевода хранится в Институте рукописей имени К. Кекелидзе).

Как показало сравнение перевода с оригиналом, Иванэ Мачабели переводил пьесу с итальянского...

Я обратилась в Дом Гольдони с просьбой разыскать ответ Ильи Чавчавадзе Эдгардо Мадалене. Вскоре я получила из Венеции копии трех писем, которые любезно переслала мне доктор Паола Киаперино, — архивные материалы сами по

себе безусловно интересные, но совсем не то, что я искала. В сопроводительном письме доктор Паола Киаперино уведомила, что это все, что им удалось найти, и если обнаружится еще что-нибудь, имеющее отношение к Грузии, она непременно сообщит.

И вот летом прошлого года из Дома Гольдони пришло радостное известие. Директор библиотеки Паола Киаперино, посылая фотокопию письма Ильи, писала: «...Недавно я начала работать над фондом Мадалены, вернее, продолжила дело, начатое Джузеппе Ортолани, первым директором Дома Гольдони... На 459 странице XXII тома я обнаружила письмо Ильи Чавчавадзе Эдгардо Мадалене, сделала фотокопию, которую и высылаю Вам. Надеюсь доставить вам радость. Тут же хочу отметить, что письмо это не было внесено в составленную Джузеппе Ортолани картотеку — «Переписка Мадалены с Грузией» (в нее были внесены только те три письма, которые я посылала вам), поскольку он успел каталогизировать только часть материалов...»

Вот это письмо Ильи Чавчавадзе:

«Милостивый государь! Простите великодушно, что я опоздал с ответом на Ваше любезное послание. Частично этому помешало то, что я был в отъезде, и потом я хотел как можно более точно ответить на Ваши вопросы. Существует только один перевод из Гольдони на грузинский язык. Поскольку очевидно, что название пьесы изменено, а переводчика уже нет в живых, я затрудняюсь дать Вам точное название пьесы. Тем более, что у меня нет под рукой сочинений Гольдони на итальянском языке. Название грузинского перевода звучит следующим образом: «Добродетельный ворчун» или «Не так льет, как гремит». Главные действующие лица Валеро и Пикардо.

Дружески приветствую Вас из древней Колхети.

С уважением, преданный Вам Илья Чавчавадзе».

Как видно из этого письма, Илья Чавчавадзе со свойственной ему обязательностью постарался дать точные сведения итальянскому гольдонисту. Письмо написано на немецком языке и отправлено в Вену 28 января 1901 года.





Мирон ХЕРГИАНИ

СКОРЬБЬ ЖАМУШИ

ДЛЯ жителей Кавказского высокогорья зима всегда была суровым испытанием. Для Сванетии же суровость зимы удваивается благодаря особенностям климата, географическому положению края — его недоступности и удаленности

Более четырех месяцев прошло с тех пор, как небывалые по интенсивности снегопады и ливни вызвали в горных районах Грузии сход лавин и сильнейшие наводнения в Колхидской низменности.

Треть территории нашей республики подверглась стихийному бедствию. Лавины и наводнения унесли 88 человеческих жизней.

Причиненный ущерб составляет многие десятки миллионов рублей. Разрушено 2700 индивидуальных жилых домов, 3560 серьезно повреждены.

Предстоит восстановить 650 школ, детских садов и яслей, больниц, поликлиник, клубов, домов быта и других объектов социально-культурного назначения, 1800 километров шоссе-ных дорог.

Немалые убытки понесло сельское хозяйство. Пострадало 80 тысяч гектаров пахотных земель, плодовых садов и плантаций, разрушена гидромелиоративная система. Погибло большое количество скота и птицы. Повреждены сотни животноводческих помещений.

20 тысяч человек переселены из пострадавших от стихии районов. Ни одна семья, попавшая в беду, не обойдена вниманием.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах помощи Грузинской ССР по ликвидации последствий стихийных бедствий», в котором че-

от долин и центров республики. Почти семь месяцев в году этот «белый остров» оторван от внешнего мира и собственными силами и средствами противостоит натиску стихии. С ранней весны уже надо готовиться к зиме — запастись продуктами питания, дровами, сеном... Да и психологически, и физически нужно себя подготовить, чтобы целым и невредимым вырваться из когтей зимы.

В настенной росписи Лаштхверской церкви (община Ленджер) изображена сцена борьбы героев рыцарского средневекового романа «Амирандареджаниани» — Бадри, Усупи, Амирани и Сэледавле — с чудовищем Бакбадэви. Эта роспись — образец редчайшего в истории мировой культуры синтеза мотивов церковной и светской литератур (встречающегося, впрочем, в горной Грузии, где христианство обрело особый характер): здесь эпизод рыцарского романа безусловно слился с ле-

тко и конкретно определены все неотложные задачи.

Разбушевавшаяся стихия не сломила людей. Они противопоставили ей необычайную сплоченность, мужество и организованность. Руку помощи братскому грузинскому народу протянула вся страна. Со всех ее концов в Грузию летели телеграммы, денежные переводы от частных лиц и трудовых коллективов, посылки с одеждой.

Но чего стоят сводки, отчеты, цифры...

«Сколько бы ни довелось услышать и прочесть в прессе — увиденное собственными глазами внушает ужас», — это слова из репортажа с мест «Где жители Грузии терпят бедствие», опубликованного в газете «Литератури Сакартвело». Авторами его являются председатель правления Союза писателей Грузии Георгий Цицишвили, секретари Джансуг Чарквиани, Лаша Табукашвили и член правления Коба Имедашвили. И далее: «В хронику этих дней, которая непременно должна быть написана, нужно внести имена подлинных героев — героизм каждого достоин описания».

Начало этой хронике положено.

Очерк Мирона Хергиани «Скорбь Жамуши» был первым писательским откликом на сванскую трагедию, написанным по следам событий.

Грузия продолжает жить в тревожном ожидании: в горах скопились огромные массы снега, продолжается сход лавин, грядет большой весенний паводок. Нужно быть начеку.

гендой о святом Георгии, поражающем дракона. Так или иначе, но сцена эта как бы символизирует постоянное противоборство местных жителей силам стихии.

Ведь действительно, с незапамятных времен зима воспринималась горцами как пришествие некоего чудища, одолеть которое было делом отнюдь не легким. Пришествие это оборачивалось и другой стороной: если обратиться к аналогии со сценой, изображенной на стене церкви Лаштхвери, борьба рыцарей с дэвом призывала к единению, к дружбе и взаимному доверию. Перед лицом всеобщей опасности отступают вражда, раздоры, зависть.

Парадоксально, но чудище выступало в то же время и в роли объединителя, миротворца. В народе говорится: «Одинокий человек жалок даже за едой», а в борьбе с разбушевавшейся стихией в одиночку тем более не устоять. И в этих банальных, на первый взгляд, сентенциях, в простых формулах бытия выражена основа всей жизненной философии горца, сконденсирован весь долгий и трудный опыт прошлого. По этой философии рождение человека знаменует собой притеснение темных сил. На своем жизненном пути человеку в сванской шапке надо было победить множество всяких чудищ, а для этого требовалось выработать соответствующую «мимирию» и разнообразнейшие способы выстоять в единоборстве с тысячью опасностей, требовалось изучить характер и закономерности суровой природы, насколько возможно, проникнуть в ее тайны, стать ее другом.

На этом пути случалось множество неожиданных бед, которые порождали чувства безнадежности, отчаяния и бессилия, но упорство, сила воли и трудолюбие горца преодолевали все. Были в природе и периоды затишья, когда на протяжении ряда лет в Львином ущелье (как с древности называли ущелье Энгури) царил покой, и грозный дракон пребывал в спячке. Может быть, в нем просыпалось великодушие, и он по-своему жалел неустрашимых горцев, давал им перевести дух?

Но в последние годы чудище разбушевалось. После случившейся несколько лет назад трагедии в Чубари, когда лавина снесла жилища и навеки погребла несколько человек, нынешней зимой произошел второй грозный натиск стихии. Снежная масса все уничтожила на своем пути, а прилепившуюся к склону горы деревню Жамуши, в которой покоен веков обитал род Навериани, снесла с лица земли. Внезапно налетевшая беспримерной силы буря окутала мокрым снегом склоны гор и всю округу. И, не сумев сладить с взметнувшимися в небо

сванскими башнями десятого века, не причинив им никакого вреда, превратила в сплошное месиво притулившиеся возле башен новые жилища, словно в укор современным каменщи-кам — мол, что это вы понастроили?.. У двадцати шести человек, молодых и старых, женщин и детей, отняла жизнь. Погублен весь скот, с корнем выворочены деревья на склонах...

Давайте на мгновение прокрутим жуткую ретроспективу трагедии того дня. Только сначала же постараемся собрать волю, чтобы достало сил проследить за всем до конца.

90-летний Семлар Навериани был счастливым дедом (до тех страшных минут, разумеется).

В проклятое утро девятого января из восьми членов семьи не осталось в живых и половины. Погиб Семлар, его четверо внуков — два мальчика и две девочки: Дато, Натиа, Джони, Тамуна. Спаслись: родители — Витя и Гулнази и тетя Вити — Нина.

Бавчи Навериани был отцом восьмерых детей, имел и внуков. Погибли: сам глава семьи, его супруга Медико, дети Лейла, Василий, Тамила, Валико и один внук. Семь душ — из одной семьи.

Спаслись три мальчика и девочка. В настоящее время двое из них вне дома.

Из семьи Чато Навериани погибли: сама Чато, ее сын Джемал, супруга брата Джемала — Дали с двумя детьми. Спаслись жена Джемала — Додочи и брат Джото.

Из семьи Наполеона Навериани погибли: его жена Тамара, сын Таризэл, жена Таризэла — Циури, их грудная дочка Лела, теща Таризэла, гостившая у них, вторая невестка с малолетним ребенком. Спаслись: сам Наполеон, его сын Придон и сын Придона Бесо.

Из семьи Багда Навериани погибли два сына Багда — десятиклассник Игорь и шестиклассник Зурико. Спаслись: Багда, его жена и дети — Дамир, Заза и Манана; две его сестры.

Из спасенных, то есть извлеченных из-под снега, четверо все еще лежат в местийской больнице, и состояние их тяжелое.

Но этот список, увы, неполный! Чуть позже ушел из жизни еще один человек — отец троих детей, преподаватель физкультуры и русского языка мулахской средней школы Серго Навериани. Три дня Серго участвовал в работах по спасению двоюродных братьев. Держался он крепче других, даже подбадривал остальных. Когда же из-под развалин извлекли двадцать восьмого погибшего, Серго не выдержал нервной

перегрузки. На четвертый день Серго Навериани, двадцать седьмая жертва катастрофы, погиб от инсульта.

Манджаиа Калдани — директор Мулахского совхоза, достойный глава здешних крестьян, уроженец Жамуши, сам едва спасшийся от смерти, рассказал, как все начиналось:

— Говорят обычно: когда арба перевернется, дорога становится лучше видна. Наше несчастье началось 19 декабря. В тот злосчастный день пошел снег, и снегопад не прекращался три недели. Такого в нашем ущелье никто не помнил и не слышал. Опасность схода лавин нарастала с каждым днем, но никто представить себе не мог, что они так обильно обрушатся на деревню. Вообще-то сход лавин в деревнях — явление редкое, ведь наши предки безошибочным чутьем определяли безопасные для поселения места. Но жамушская трагедия — результат аномального погодного явления, предсказать же аномальный случай, да еще аналогичный нынешнему, наверное, практически невозможно.

...Когда высота снега достигла крон деревьев, каждый из нас встревожился, но в то же время каждый ожидал: не сегодня—завтра прояснится, погода установится, и все обойдется. Хорошо, что из-за обильного снегопада не работал сельский сад-ясли, теперь там одни развалины...

А снег все валил и валил... Чхутская гора, нависшая над селом, сбрасывала с себя снег, как лаваш, и он ложился и ложился на крыши домов, а мы даже не в состоянии были подняться наверх, чтобы сгрести его.

Главная забота свана в большой снегопад — вовремя расчистить крышу. Сколько было случаев, когда бревна и перекрытия не выдерживали тяжести снега и рушились. Даже если избегали жертв, ущерб для семьи бывал все равно огромен: в такой холод остаться без крова... Скотина гибла. А ведь скот для горца — основа основ его существования...

Рядом с Жамуши проходило ущелье. Над Жамуши были нивы и пастбища, а чуть выше — склоны, покрытые лесом. Лавин здесь никто не помнил, разве только название села могло заставить призадуматься любознательного или топонимиста. Слово «жамуши» ассоциируется в грузинском языке с черной оспой. И, возможно, в названии местности отразилось некогда происшедшее здесь трагическое событие — эпидемия ли, стихийное ли бедствие или какая-нибудь иная беда.

В Местийском районе ныне есть деревня Ланчвали. «Чвали» по-свански означает оползень, буквально — место, где

сползла земля. На окраине деревни — небольшая площадка, которую называют лагуниаши — то есть место, где близкие оплакивают усопшего.

Существует печальная легенда в связи с лагуниаши. Из Внешней Сванетии, то есть Сванетии, исторически расположенной на территории Северного Кавказа, вернулся домой один местиец (называют и его фамилию) и в высокогорном озере Чахи, которое считалось святым, вымыл свои пыльные постолы, чем разгневал бога погоды, всемогущего Элиа. Не успел он добраться до вершины Орлиной горы, что нависла над Местиа, как оттуда двинулся огромный оползень и начался страшный потоп... Село Ланчвали (вернее — поселение, более раннее, чем нынешнее Ланчвали) мгновенно было погребено под щебнем и обломками скал. И стройные белые башни оказались под землей вместе со своими обитателями. На окраине села, на лагуниаши оставшиеся в живых сельчане оплакивали погибших...

Совсем недавно на месте бывшего оползня строители обнаружили в земле стены древней башни. Высота их достигает сорока метров... Очевидно, ланчвальская легенда повествует о трагедии, действительно происшедшей здесь некогда.

Но и Ланчвали, и Жамуши, и названия других, родственных им с этимологическо-семантической точки зрения, сел утратили свое первоначальное значение и ничего тревожного не сулили. Шла обычная жизнь. Жамушцы пахали, сеяли, косили сено, убирали урожай, разводили скот. Как и из других сел Сванетии, некоторые переселялись в долины и обосновывались там. Жамушцы любили, горевали, ездили за покупками, строились.

Над всем Мулахи разносились звуки «Лилео» — древнего гимна солнцу. И гордились жамушцы тем, что животворный образ Мулахи вдохновил поэта Реваза Маргиани написать замечательную величальную Львиному ущелью. Реваз Маргиани — уроженец Мулахи. Сыном этой земли был и легендарный герой-подводник Ярослав Иоселиани. Прославленный комсомольский вожак, безвременно погибший при исполнении служебных обязанностей Боря Кахиани тоже был из Мулахи.

Немало достойных сынов вскормила мулахская земля...

С незапамятных времен через Мулахи проходили дороги на Северный Кавказ. Здесь был и сравнительно легко проходимый Твиберский перевал. Но так же легко преодолит он был и для врагов. Это всегда призывало мулахцев к бдитель-

ности. Слух у местных жителей, как фонендоскоп, улавливал даже шорох, доносящийся со стороны скального прохода.

Мулахцы всегда были во всеоружии перед любыми испытаниями. Схватки их с внешними врагами отображены в сванской мифологии, в легендах и сказаниях.

Октябрьский свет освобождения в Сванетии впервые засиял здесь: Красный Мулахи стал символом героических дел в борьбе за утверждение новой жизни жамушских, арцхельских, мужальских и других революционеров. Во главе этой борьбы стоял уроженец Жамуши — Силибистро Навериани.

...Наполеон Навериани чудом избежал смерти. Но что теперь его жизнь, когда из семьи в двенадцать человек уцелели лишь трое!

Превозмогая душевную боль, сетует он на несправедливость судьбы: молодые погибли, а я остался в живых... Если бы не участие уцелевших односельчан, наверное, не вынес бы он столько бед. Но готовность людей помочь ему пробуждает чувство долга перед односельчанами.

Слов для утешения нет. Однако молчание еще тягостнее, и люди возвращаются мыслями к прошлому, к истории Сванетии. Начинают рассказывать старинные предания о том, как погибали целые семьи, но если спасался хоть один, то он, как корень, снова давал начало роду, возрождалась семья, продолжалась фамилия...

— Тебе не грозит вырождение рода — спаслись Придон и его сын... Спаслись и другие, — говорят односельчане Наполеону.

Люди хотят отвлечь главу семьи от мрачных дум, вернуть его к повседневным заботам. Тактично затевают они беседу с ним, направляют ее в нужное русло.

Ему трудно говорить, но нельзя же обидеть добрых соседей, отказать им в общении, и, запинаясь, словно разгребая снег и утапывая его, рассказывает он о событиях той ночи:

— Утром я раньше всех поднялся. Не спалось, не лежало. Решил присмотреть за скотиной, сделать кое-какие дела по дому и отправиться на работу, — рассказывает Наполеон. — Не прояснилось ли? — подумал я про себя. Только вышел, как началась эта дьявольская метель. Ужасный грохот со стороны Чхути ударил в уши. Я не успел сообразить, что происходит, в одно мгновение огромная глыба снега, сорвавшаяся со склона горы, подняла меня в воздух и отбросила куда-то далеко. А что делаешь в минуту опасности — зовешь маму

или бежишь туда, где можно укрыться... Порывался вернуться в дом... Но когда я, прибитый снегом, оглянулся, дома моего уже не было...

Все сравнялось с землей, только поодаль стояла одинокая уцелевшая башня.

Потом пошла вторая волна. А, может быть, мне это почудилось — я ведь уже не в себе был...

...Гудит погребальный звон. Двадцать шесть человек хоронит Мулахи. Несмотря на заносы и бездорожье даже из дальних деревень пришли сюда сваны. Местийцы, бечойцы, ленджерцы, ипарцы и цвирмельцы, ушгульцы, адишцы — все здесь. Отдельно, по деревням, стоят люди. Каждая деревня оплакивает усопших по-своему. Сменяют друг друга плакальщицы. Их причитания надрывают сердце. Вся Сванетия оплакивает мулахцев, уж и не поймешь, кто свой, а кто пришел издалека. Все здесь близкие друг другу, все — родня, скорбь и горечь утраты все переживают одинаково остро. Женщины в черном... Черный цвет особенно резко подчеркивает сплошную белизну снега, причинившего столько бед людям и опрокинувшего связанное с белым цветом символическое представление обо всем чистом, светлом...

Мулахцы вручную долбят промерзшую, оледеневшую землю. И вот наконец вырыта братская могила метров тридцать в длину — погибших хоронят, как на войне.

Трудно смириться со смертью стольких людей сразу. А как смириться с мыслью об исчезновении целого села? Была деревня Жамуши — и пропала внезапно, и название ее будет предано забвению! И руководители района, и все его жители понимают, что этого допустить нельзя.

Сванской деревне с незапамятных времен были свойственны поразительная жизнестойкость и жизнеспособность. Ведь села, как и люди, со своими характерами.

— ...Из нашего братско-соседского содружества Тахушеров стихия обошла один лишь наш дом, но обрушила на нас чувство вины и стыда за то, что случилось именно так... Исстари мы были связаны воедино, вместе радовались, вместе горевали, все делили между собой. Мы все, хоть и двоюродные, но живем как родные. И вдруг стихия пощадила нас... Нет, это была не обычная лавина — у лавины определенная траектория, направление. Если несется прямо, то в сторону не свернет, разве только на какую-нибудь преграду наткнется. А эту будто бес закрутил в нашей округе — вскочила

на эту высоченную башню, прошла по ее зубцам и стенам, но не одолела. Дома моих двоюродных братьев сразу же уничтожила, не оставила камня на камне. Когда же до нас дошла, внезапно вильнула хвостом и обошла стороной. Вот, чуть поодаль, где у нас хозяйственные постройки, туда она ударила, разгромила хлев, погубила восемь голов скотины. Мы разыскивали погибших, а когда, наконец, огляделись, — скотину словно земля поглотила, даже следов не осталось... Одни лишь привязанные собаки валялись бездыханные... Вот так это было...

У Манджиан Калдани, директора нашего совхоза — это один-единственный человек другой фамилии в нашем братстве Тахушеров, — дом тоже едва уцелел, правда, буран выбил все стекла...

Я говорю — это была необычная лавина. Ведь после лавины столько камней и щебня остается, да такая гора снега — все лето тает, не растает... Здесь все было иначе. Я думаю, здесь штормовой ветер разыгрался, окутал склоны Чхути мокрым снегом и засыпал нашу деревню. Может быть, и циклон был местного значения, откуда мне знать...

Лицо деревни, ее авторитет, общественное значение всегда определяют ее уроженцы, а главным образом, молодежь. О здешней молодежи хочется сказать много добрых слов. По ее инициативе на общественных началах здесь построено немало молодежных центров, комплексов спортивно-культурного назначения, клубов.

В Местиа недавно вошли в строй молодежный клуб имени Михаила Хергиани, спортзал и спортплощадка имени Габриэла Хергиани, созданные по инициативе вожака спортивного движения в районе Гайоза Чартолани, сына прославленного альпиниста Чичико Чартолани. Кроме того — спортивный комплекс имени Гурама Тиканадзе в Латали, спортзал имени Илико Габлиани в Мулахи, спорткомплексы в Чубери, Ипари, Бечо...

Фактически сложнейшие процессы телефикации и строительства дорог в Сванетии легли на плечи местных комсомольцев. Они месяцами бесплатно трудились, устанавливали телемачты. Надо было видеть собственными глазами, как тяжело приходилось им работать на неприступных горах и утесах, доставляя туда и монтируя сложную технику, чтобы во всей полноте представить масштабность их дел... Говоря откоро-

венно, в мирное время понятие героизм, подвиг в отношении к деятельности сванской молодежи не будут преувеличением.

Энтузиазм сванской молодежи находил выход в ущельях Энгури и Цхенискали. Сванские трудовые бригады по комсомольским путевкам грибыли и в столицу. Именно молодежь из Мулахи несколько лет назад участвовала в восстановлении здания Тбилисского театра оперы и балета, в строительстве комсомольского городка «Борис Дзnelадзе», украсив его огромным ольховником и сванским жилым комплексом с традиционной башней. Всеми этими работами руководил Борис Кахиани.

У Бориса Кахиани нашлось много верных последователей и не только в Сванетии, накал патриотических дел высок и сейчас. Одноклассник Бориса, Автандил Маргиани, который родом тоже из Мулахи, — один из создателей и основателей села Нагеби Гардабанского района, сегодня директор Гардабанского животноводческого комплекса.

На южной границе нашей республики, в регионе, замечательном своими экономическим, хозяйственным и многими другими аспектами, возникло новое грузинское поселение Нагеби (что по-свански и по-грузински означает одно и то же — «стена», «строение»). Строители, а теперь уже жители этого села, среди которых большинство — мулахцы, украсили и его сванской башней и сванским домом — символами любви к родным краям.

Итак, к недавним сванским поселениям в Кахипари, Удабно, Лило и Крцаниси прибавилось еще одно. Притесненная стихией часть населения Сванетии укоренится в этих краях, обильно политых кровью предков, и зазвучит над округой торжественный «Лилео».

...Исчезновение деревни?! И какой деревни — той, что выделяется нравственным здоровьем, самоуправлением? Ведь здесь никогда не было случая воровства, нарушения общественного порядка. Здесь никогда не ссорились друг с другом соседи, отсюда никогда не ушла ни одна жалоба, не было ни одного развода. И не из страха перед милицией, райкомом или другими вышестоящими органами и инстанциями, не благодаря чьему-либо внушению, а исходя из собственного сознания, из благотворного влияния здоровых традиций, завещанных предками, из взаимного уважения и любви.

Самую большую заботу и гордость, самое большое богатство и сокровище составляли их дети...

Погибло двадцать семь человек... Ведь это в сущности одна условная горная деревня!

Придон Навериани, отец двоих детей, в мгновение ока потерял семью: мать, жену, сына, брата, невестку, племянницу, жену второго брата и другого племянника, гостившую в доме мать невестки. Потерял родственников-односельчан, среди которых были его дядя, двоюродные братья, сестры.

А сам? Сам же был среди них, ныне покойных, на краю гибели.

Через несколько дней, воскреснув из мертвых, он мучительно припомнит события того дня:

— Когда мы встали, раздался сильный грохот. Жена бросилась к люльке, стоявшей у окна, чтобы укрыть собой ребенка. Потом все произошло молниеносно — рухнули стены, сломались бревна, столбы, обвалилась крыша. Нас окутало облако снега и снежной пыли. Инстинктивно я успел прикрыть собой моего маленького Бесо, как будто это могло помочь.

В то страшное утро любой мог сойти с ума. Сейчас, когда я задумываюсь над пережитым ужасом, думаю, что меня от смерти спас сын. Погребенные под развалинами и снегом, мы обогревали и ободряли друг друга. К счастью, над нами мостом легло бревно, и мы лежали под ним...

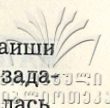
Было холодно, мы замерзали. Распластанным на земле, нам было трудно двигаться, даже дышать, но куда мы могли деться!.. Сейчас не вспомнить, о чем я думал тогда.

Я понимал, что долго мы не выдержим... И как можно крепче прижимал к себе ребенка, чтобы согреть его... Боялся помешаться... Но я не имел на это права! Из-за Бесо не имел права...

И снова появлялась надежда... Вдруг стукнула лопата над головой — и будто открыла окно жизни. Мы выбрались из преисподней, но что нас ждало?!

— Надо использовать все, чтобы сохранить село, тем более, в таком полнокровном регионе, как Местийский район, — говорит в беседе со мной первый секретарь Местийского райкома партии Мурад Ушхвани. — Тотальный вывод населения отсюда можно допустить лишь в крайнем случае. Надо изучить проблему. Мы в состоянии это осуществить — и экономически, и физически. Упрощение проблемы до добра не ведет...

К сказанному первым секретарем полностью присоединяется председатель райисполкома Элдар Хвистани. Он говорит:



— В связи со строительством ХудониГЭС село Хайши должно быть переселено, мы еще не успели решить эту задачу, как обрушилась беда в Жамуши. Зима еще не кончилась. Снегопад продолжается. Над многими селами навис дамоклов меч. Чтобы избежать опасности, мы с помощью Центрального Комитета партии и Совета Министров Грузии предприняли соответствующие меры: с мест ожидаемого натиска стихии вывели людей, но материальный ущерб неизбежен. Надо учитывать и то, что в наших местах сезон схода лавин обычно начинается в марте, с первого таяния снегов. Спасемся от лавин — надо быть готовыми к наводнению... О возможных его последствиях, наверное, уже думают наши гидрологи и строители ХудониГЭС и ИнгуриГЭС...

Человек — малое дитя природы, и таким останется и в будущем. Прародительница-природа всегда будет сильнее малого своего дитяти. Ошибочны все теории, отрицающие эту закономерность. Вроде бы ущемляется самолюбие всемогущего гомо сапиенс, каким он представляется самому себе, но жамушская и тысячи подобных историй вновь подвергают сомнению это представление.

Однако какими средствами противостоять сейчас, да и в будущем, коварному и неодолимому натиску стихии? Какие силы выдвинуть в этой борьбе, чтобы хоть частично уменьшить потери?

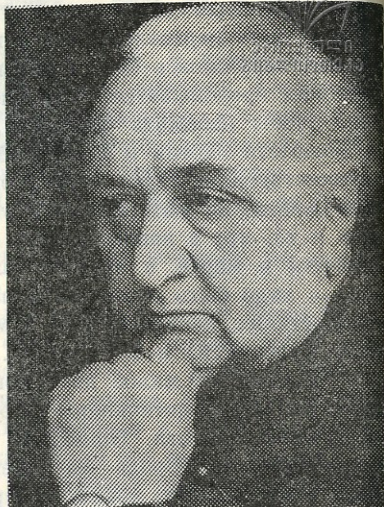
Никто не отрицает и не исключает роль современных технических средств и социальных возможностей в этом единоборстве — все это само собой разумеется.

Все население республики готово внести свой вклад в ликвидацию последствий национальной трагедии. Патриотическая деятельность руководителей республики по ликвидации ущерба, нанесенного стихией не только Сванетии, но и другим регионам Грузии, искренняя поддержка всего советского народа — только это и может облегчить чрезвычайно тяжелое состояние пострадавших семей. И создание фонда помощи, видимо, самое оптимальное выражение нашего душевного потрясения.

Мы все мечтаем о возрождении Жамуши, о том, чтобы оно стало еще надежнее, чем было до того рокового утра 9 января. Сколько сел и городов восстали из мертвых! Вспомним хотя бы судьбу Ланчвали — села, некогда погребенного под оползнем! Разве оно не здесь же, рядом?

Мы верим, что вновь восторжествует мудрость предков: да будет мост там, где лишь его развалины, и тропа там, где лишь ее след.

Известному грузинскому поэту и общественному деятелю Карло Каладзе исполнилось 80 лет. Редакция и редколлегия журнала «Литературная Грузия» тепло поздравляют поэта с юбилейной датой и желают ему новых творческих достижений, крепкого здоровья и бодрости.



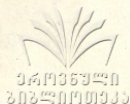
НАВЕНАХЕВИ

Видел пещеры я — чудо природы —
Только ль Афона, только ли Сатаплии?
Видел нависшие черные свсды,
— Лавы наплывшей тяжкие капли...

Входы в пещеры лавром обвиты,
Залы без окон, тьма без просвета...
Бьется беззвучно и глухо о плиты
Жизнь без опоры — и рушится где-то...

Где б они были — рассветы, закаты,
Если б опять сотрясалоь во гневе
Место, где был виноградник когда-то,—
Это ущелье — Навенахеви!

Кто нам откроет странную тайну—
Что же здесь некогда было? Селенье?
Это название ведь неслучайно:
Это угаснувшей жизни веленье...



Сны этой жизни, молчавшей веками,
Не потревожит потоков течение,
Тех, что несут многоцветные камни,
Вовсе не зная о их назначенье.

Как шелестели сады над пещерой,
Саженьцы старой и новой Тержолы!
Время пришло, чтоб в небесные сферы
Лозы тянулись в гроздьях тяжелых.

Как шелестят над ущельем деревья!
Свет озаряет все новые лица...
Залы нужны эти Навенахеви,
Чтоб чудесам его здесь сохраниться...

МАРСЕЛЬ НОЧЬЮ

Куда деваться от луны?.. Однако
Тьма нарастает, все в округе пряча.
Как тень — я исчезаю из Монако,
Тень игрока, что терпит неудачу.

И я надеюсь, одолев усталость,
Пробраться через скрывшиеся горы.
И все считаю, сколько миль осталось,
Как скоро путь сделаю, как скоро?..

О неужели уже не доверяю
Вот с этого угасшего мгновенья
Я никому?.. Себя я проверяю:
Пойму ль безверия возникновенье?

Хорошего мне ночь не напророчит,
Но на виду у замершего неба
Хочу, чтоб бездна между днем и ночью
Беды не нашептала в ухо мне бы...

Борюсь — в чужом краю лишенный речи —
С печалью, мне неведомой доселе...
Чего же от меня, от нашей встречи,
Ждет приумолкший небосвод Марселя?



Драконом в мрак ночной прокралась туча,
И замерла окрестность, затаилась,
И духота растет во тьме тягучей —
Опасность или тайная немилость...

Не спит иль дремлет тень камней ночами?..
Что ждет меня здесь — слезы иль веселье?
Покачивая, как корабль, плечами,
Встречаюсь со сверкающим Марселем.

Огни, огни!.. Приманка ли, задаток?
Портовый город!.. Путь мой только начат...
О сколько в нем затаено загадок,
Что путешественников озадачат.

Глухая ночь шуршит во тьме бессонно...
Меня ж одно желанье охватило:
Любую дверь открыть — и к телефону
Рвануться за границы, за пределы...

Я разовью невиданную скорость,
Я проявлю неслыханную смелость...
Хочу до дома протянуть свой голос,
Пока заря в окне не разгорелась,

Пока волна небесной синей выси
Свет глаз моих не донесла в Тбилиси...

За словом — слово, как удары шпаги,
Туда, через дома, через границы,
Где звуки грусти, радости, отваги
Сливаются, чтоб в сердце сохраниться.

И если мой прицел предельно точен,
И если снова стало смелым слово —
Я не подумаю дней своих без строчек,
Что в наступленье и в полет готовы...

**Ценою крови каждый крик оплачен,
Спешит строка — одна другой на смену.
И вздох и зов мой где-то обозначен,
Да сбережет его судьба от тлена!**



**Я верю, что слова достигнут цели,
Ничто раскрыть не помешает душу,
Что в городе морей, в чужом Марселе
Меня услышат небо, море, суша...**

**Как моряки твои — у волнореза
Перекликаюсь с тьмой своим волнением...
Марсель, Марсель, родивший Марсельезу, —
И песнь мою прими в свое владенье!**

Перевод Елены НИКОЛАЕВСКОЙ



ХРОНИКА

ЮБИЛЕЙ ФЛАГМАНА СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ

В нынешнем году традиционный праздник журналистов страны совпал с 75-летием газеты «Правда», у истоков которой стоял В. И. Ленин.

На эту знаменательную дату широко откликнулась республиканская пресса. Она рассказала не только о ее роли в развитии революционного движения в Грузии и Закавказье в дооктябрьский период, но и о том постоянном пристальном внимании ко всему, чем и как жила республика вплоть до сегодняшнего дня. Своими мыслями о помощи, которую оказывают в деле перестройки публикации «Правды», поделились на страницах местных газет читатели.

Призыв к органам нашей

печати быть глашатаями перестройки, утверждения нравственных и духовных ценностей и следовать в этом примере «Правды» во весь голос прозвучал на юбилейном вечере, проведенном 5 мая в столице Грузии и посвященном 75-летию «Правды» и Дню советской печати.

На вечере выступили секретарь Тбилисского горкома партии Н. И. Лагидзе, заместитель председателя управления Союза журналистов Грузии, председатель Государственного комитета Грузинской ССР по телевидению и радиовещанию А. Р. Санеблидзе.

Присутствовали — секретарь ЦК КП Грузии Г. Н. Енукидзе, заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КП Грузии Н. А. Попхадзе.



Тина ДОНЖАШВИЛИ

ГОНДЖАУРА

Р о м а н

«Комбайн. Настоящий?» — услышался ему голос из какой-то давным-давно прожитой жизни, и от боли, внезапно возникшей в груди, он тихо ответил девочке:

— Настоящий. Вот как этот, глинобитный. Когда солнце прогреет его, он в сказочный замок превратится, а ты в нем будешь сидеть, как царица цветов...

Нато от восторга волчком закружилась на одной ноге.

Алекси прикрыл глаза. «Нет, нельзя!» — сказал он себе, решительно пресекая наплыв голосов и образов из своей той, давным-давно прожитой жизни. Он встал.

— Устал я, Нато, войдем в дом. Ты... ты — мой Вергилий...

Нато решила, что «Вергилий» — ласкательное слово на местном, казахском языке и весело рассмеялась.

Вечером вместе с Илетакса пришли ирмисцы — проведать Алекси. Алекси лежал в постели. Конечно, он был таким же бледным и осунувшимся, но ветерок и солнце подсушили ранки на лице, и глаза, чистые, без желтизны, спокойно лучились.

— Значит, ты скоро вернешься к нам! — сказали на прощание радостно возбужденные ирмисцы, сократив свой «визит», чтобы не утомить его и чтоб поскорей донести до своих эту радостную весть.

Проводив гостей и вернувшись в комнату, Илетак-

са застал Алекси возле мангала в своем халате. И глаза у Алекси теперь беспокойно блеснули.

— Ты очень-очень прекрасная спектакль устроишь! — всплеснул руками не на шутку рассерженный Илетакса. — Без разрешения ходил гулять! Сейчас играешь Гамлет! Хочешь решать мировая проблема?

— Мировые проблемы есть кому решать, меня занимает очень маленький вопрос. Но мне необходима твоя помощь. Я тебя ждал.

— Я буду послушать, как египетский сфинкс! — твердо пообещал Илетакса и, отложив свой выговор строптивому больному на потом, уютно устроился на тахте, но после первых же слов Алекси вскочил как ужаленный.

— Ты есть сумасшедший! Ты потерял ум в пустыня Кызылкум!

Накричавшись вдоволь и набегавшись по комнате, он остановился перед Алекси и внушительно, по слогам сказал:

— Ты забыл, камарад, што радиус твой жизни есть только три километр! Забыл, што у тебя есть твой два рука и больше ничего. Ты еще не узнал комендант. Он хочет твоя рука на хлопка плантация. Ты не хочешь понимать это? — он, возмущенный, сдернул с головы свою феску, передохнул и снова взорвался: — Ты есть, как мул Магжан Тасанбаева! Ты не есть дельный человек! Ты думал—открывай чемодан и там есть полная виноград киндзмараули?! Я доктор, и фармаколог, и магистр философия, и не виноградный специалист, а все равно знаю, что есть виноградный сад!

— Ты и должен знать. Греция—родина замечательного вида изюмного винограда «Коринф», — перебил его Алекси.

— Откуда ты знаешь? — сразу смягчился Илетакса.

— Я не доктор и не философ, я только это и знаю, где какой вид лозы произрастает.

— А почему ты не знаешь, што для эта дела нужна многа машина, рабочи, субсидия. Ты сумасшедший, твой мечта химера, горячный бред! Я двадцать два день имел твой бред, больше не желаю!

— Ты терпел двадцать два дня, я прошу, потерпи еще один час!..

«Один час», — сказал Алекси, но занялась заря, а они продолжали работать. Крик Илетакса и их громкие споры лишь изредка сменялись спокойным рассуждением. Но замысел Алекси постепенно увлек Коста. У него нашлась даже изданная краеведческим музеем схема оросительной системы.

Утром пришла машина, присланная директором совхоза за Илетакса, но они продолжали чертить, измерять, вычислять и строить всякие планы. А когда нетерпеливый сигнал машины все же заставил их прекратить работу, Илетакса снял очки и, сразу став похожим на птичку-вещунью, сказал:

— Я очень-очень пожалею, камарад, когда тебя садят на сумашедший дом!

А потом, уже усаживаясь в машину, он сказал:

— Главная персона есть Магжан Тасанбаев. Магжан есть директор хлопка совхоз, Герой Социалистический Труд, депутат Верховная палата, а если Магжан Тасанбаев говорил «нет» — эта все! Легко его мул будет прочитать библиа, чем его хозяин говорил «да»!..

Говоря по совести, античная поэзия не особенно увлекала Алекси, но из уважения к Илетакса он старался одолеть «Илиаду», преподнесенную ему доктором с трогательной надписью.

«Очевидно, до моего сознания не доходят эти тонкости, — сокрушенно опускал он книгу, когда между строк у него начинали мелькать заступы, лопаты, мотыги, саженцы. — И кто выдумал, что Олимп был местом покоя и мирных развлечений? Интересно, что сказал бы Гомер, воскресни он? Просто удивился бы, что мысль и рука человека дотянулись до неба, до морских глубин, до недр земли, а одолеть свои изначальные страстишки он не смог...»

Об этом думал Алекси, когда у лачуги остановился мул. Человек, слезая с него, свесился с седла, но изношенный ремень стремени, не выдержав его тяжести, лопнул. Человек еле удержался на ногах и тонким высоким голосом обругал мула.

Алекси сразу узнал его по голосу и облику, запечатленному памятью в лихорадочно возбужденном мозгу во время болезни. Он узнал Магжана Тасанбаева и догадался, что его появлению он обязан Коста Иле-

такса, единственному человеку, которому он доверил свой замысел.

Некоторое время Рчеулишвили и Тасанбаев издали рассматривали друг друга.

Алекси — в длинной, узкой и темной хламиде стоял среди цветов с раскрытой книгой в руке.

Приземистый Магжан стоял, прислонясь к блестящему крупу мула, скрестив руки на животе, выступающем из стеганого халата с голубыми разводами, надетом поверх черного кителя и штанов, заправленных в голенища мягких сапог. Голову его украшала пестрая четырехугольная шапочка.

Наконец Алекси пошел к лачуге. Тасанбаев с ног до головы оглядел его своими раскосыми, широко расставленными, мелкими и блестящими, как черные бусинки, глазами. По его безбородому круглому лицу пробежала улыбка.

— Поздравляю с выздоровлением, товарищ, — сказал он.

— Спасибо. Даже не верится, что я был болен.

— Йой! — раздувая ноздри короткого и широкого носа и округлив губы, издал какое-то неопределенное междометие Тасанбаев.

— Пожалуйте в дом, — предложил Алекси.

— Нет, лучше здесь. Надоело мне все время хлопот видеть, я тоже люблю цветы, — со скрытым значением сказал Тасанбаев. Он поглядел вслед мулу, уходящему в цветущую степь, и присел на табурет, который жалобно заскрипел под ним. Потом он достал из-за пазухи кiset и трубку.

— Подождите закуривать, — сказал ему Алекси, вошел в комнату и вынес золотистый листовой табак. — Попробуйте, это из наших краев.

— Взятка? — вздернул Тасанбаев коротенькие вразлет брови. Он раскрошил лист табака и набил им трубку. Сделав глубокую затяжку, он так раскашлялся, что из глаз у него потекли слезы.

— Ох, крепкий, черт, — с трудом перевел он дух.

— Взятка должна быть крепкой, — усмехнулся Алекси.

— Йой! — процедил сквозь зубы Тасанбаев и уставился на степь.

Не проронив больше ни звука, он осторожными, короткими затяжками докурил трубку, выколотил из нее пепел, спрятал трубку за пазуху и продолжал с безмятежным видом созерцать степь.

Они долго испытывали друг друга в выдержке и терпении. Наконец, под Тасанбаевым скрипнул табурет, он повернулся к Алекси и, уставив в него глазки — агатовые буравчики, холодно отрезал:

— Не выйдет.

Алекси вспомнил сказанное Илетакса: «Если Магжан Тасанбаев скажет «нет», значит, все. Легче его мула заставить читать библию, чем его хозяина — сказать «да»... Ничуть не меняя выражение лица, Алекси подумал: «Говорят, слово всесильно. Мне на это нечего рассчитывать. Какими словами я могу его убедить, заставить изменить уже сказанное им «не выйдет»?»

— Не выйдет, — повторил Тасанбаев таким тоном, будто он только для того и прибыл сюда, чтобы сказать это и считать разговор законченным.

«Вот и никакого красноречия не потребовалось», — горько усмехнулся в душе Алекси и с непроницаемым лицом сказал:

— Что ж? Придется и мне заняться хлопком.

— Вот это правильно, товарищ! — как будто обрадовался Тасанбаев, в действительности же выражение лица и тон Алекси сбили его с толку. Да и несолидным для себя он счел такое куцее и одностороннее решение вопроса. «Ну что этот человек подумает? Скажет, чего было тащиться в такую даль только для того, чтобы отказать. Даже согласие давать так быстро было бы непристойным. А уж отказать нужно было после спокойного, длительного обсуждения. Поторопился я, ошибку надо исправить...»

— Я знаю, вы с Илетакса тут судили-рядили, считали, много бумаги исписали — это мне неинтересно. Мне ты покажи здесь, — кивнул он в сторону степи.

Алекси с такой готовностью повел Тасанбаева через кромку пестревшей степи, будто распахнул перед ним калитку виноградника.

И кто знает, сколько километров вдоль и поперек и наискось исходили они по участкам будущих виноградников, предполагаемых планами Алекси. Долго и подробно виноградарь рассказывал хлопководу о по-

следовательных процессах подготовки участков, о видах работ по уходу за вновь разбитыми виноградниками, о пользе и благе, и красоте выращивания лозы. С обоих пот лил ручьем. Оба устали от исхоженных километров. Оба утомились от вопросов и ответов, от мирной беседы и заковыристых иносказаний.

Наконец Тасанбаев вытащил из нагрудного кармана часы, провел ребром ладони по дарственной надписи и откинул крышку.

— Иой, целый день пропал! — рассердился он неизвестно на кого и засеменял к лачуге. Уставший, опустился на табурет и приложился к кувшину, который привез с собой. Напившись, он протянул кувшин Алекси и, указывая на мула, возлежавшего в цветах, сказал:

— Хорошая порода. Тебя спасло молоко его матери.

— А? — изменился Алекси в лице.

— К счастью, у меня в мехе еще было немножко, когда мы тебя нашли.

Алекси старался подавить тошноту, а Тасанбаев с мнимым сочувствием продолжал:

— Когда люди приезжают сюда на лечение, сначала они суют себе пальцы в рот, а потом ничего, привыкают. А когда они по-настоящему распробуют наш кумыс, то жуть, сколько выпивают. И ты много пил. Вот такой кувшин за день выпивал. Пей, хороший кумыс, свежий, крепкий. Это — жизнь и здоровье, пей!

В душе проклиная день своего рождения, но выполняя настойчивую просьбу Тасанбаева, Алекси старался влить себе в глотку кумыс. При этом он с опозданием обозлился на Илетакса, по вкусу узнав белую сладковатую жидкость, которой обильно поил его Коста, хвалясь своим лекарством.

— Вот и хорошо! — одобрительно кивнул головой Тасанбаев, приняв пустой кувшин из рук Алекси, потом хлопнул по колену трубкой и деловито сказал: — Не выйдет! Сожалею, но должен повторить тебе: не выйдет!

Алекси опустил глаза на свои исхудалые смуглые руки. Он не видел скуластого лица Тасанбаева, его хитро прищуренных глаз. Только тонкий голос его слышал:

— Тебе нужен плуг, плугу нужен трактор, а у меня трактора нет. Тебе нужна вода, воде нужен канал, канала здесь нет. Тебе нужна ветрозащита, здесь поблизости и десятка деревьев не насчитаешь. Тебе нужны рабочие, а рабочие нужны хлопку. В нашем Абай-Базарском районе нет виноградников, мы не умеем лозу выращивать. Ясно тебе?

«Ясно, — ответил ему в душе Алекси, не поднимая головы. — Я ему рассказал все подробно, а он начинает сначала. Значит, я не смог его убедить. Ну пусть уходит, чего же он сидит? Ему не хочется лишние хлопоты взваливать на себя. Я же ничего не могу поделывать со своим проклятым сердцем, не могу его взнудать, все куда-то рвется окаянное...»

— Ты слышал, товарищ, что я сказал? — спросил Тасанбаев.

— Слышал.

— Почему же молчишь?

— А чего еще говорить?

— Иой! Твое слово золото, что ли? Ты думаешь, одарил словом и дело уже сделано? — возмутился Тасанбаев.

К Алекси вдруг почему-то вернулась надежда. Он поднял голову.

Тасанбаев потер безбородый подбородок и сказал:

— Ты председатель колхоза был... Говорят, ты неплохой человек. Скажи, такое дело можно начинать без разрешения, а?

— Ты депутат Верховного Совета, ты директор совхоза, ты Герой труда, — кто может запретить тебе использовать степи, которые лежат тут без дела?

— Скажут—пожалуйста, используй землю, осваивай, давай больше хлопка. У нас хлопок высококачественный!

— Магжан, ты любишь хлопок. Когда человек любит свое дело, он легко поймет, он почувствует, как другой человек любит свое дело.

— Да, я понял, почувствовал, но что с того, что я почувствовал, что я могу?

— Я виноградарь. Все наши — люди из Дарианского района — специалисты своего дела, виноградары. Из нас хлопкоробы не получатся!

— Что значит хлопкоробы? Когда хлопку требу-

ется, тогда мне все равно. Даже профессора по звездным делам я поставлю работать на хлопковой плантации!

— Я ведь сказал тебе: когда для хлопка нужно будет, мы все будем на хлопковой плантации, не веришь моему слову?

— Верю, очень верю, но...

— Разве все дело только в хлопке? Смотри сюда, директор, видишь?

Рукоюткой кочерги Алекси начертил на земле гроздь винограда и пояснил:

— Это французский сорт «кабернэ». Из него выделяется то самое на весь мир прославленное бургундское вино. Отличное вино! Вот это «кабернэ» здесь, на твоей земле будет жить не хуже, чем во Франции. А теперь смотри!

Рядом с «кабернэ» Алекси начертил вторую гроздь. И пояснил:

— Это грузинский сорт «саперави», ты, может, пил это вино. Здесь для него очень подходящие условия. И вот еще:

К «кабернэ» и «саперави» Алекси пририсовал третью гроздь.

— Это узнаешь? Местный сорт, ваш среднеазиатский «Баян-ширей»... Ты не думай, что я что-нибудь преувеличиваю, агитирую тебя. Дело в том, что здесь много солнца и воздух чистый. Здесь нет страшных болезней виноградников — филлоксеры и мильдиума. Лоза здесь так успешно привьется, что ты — знатный хлопкороб, и виноградарством прославишься.

— Не хочу. Слава — большое беспокойство.

— От твоего беспокойства народу польза.

— Иой, народу, все народу, а мне что? Для себя и часа не остается. У меня пять душ детей, а я не видел, как они выросли. Я их не вижу. Раньше я, как мой отец, мой дед, мой прадед, был табунщиком и охотником. С детства больше всего я любил охоту, а сейчас у меня нет возможности хоть раз в год вырваться на охоту! Сказал я, не выйдет — и все!

— А какого черта ты в тот день нашел время искать меня? Зачем ты за мной, как за зверем, охотился в пустыне? Зачем нашел меня, кто тебя просил?

— Просили, все просили!

— Я не просил! Не надо было, нет!

— Иой!.. — всплеснул руками Тасанбаев и начал набивать трубку. — Зачем же хорошему человеку было пропадать?.. Слушай, друг, не расстраивайся, проси хлопок, сколько хочешь дам, больше у меня ничего нет.

— У тебя тракторы и плуги есть, я знаю!

— А вода?

— Сырдарья высохла, что ли?

— А ты знаешь, где Сырдарья?

— Канал подведен к твоему дому. Ты же не выпьешь всю воду Сырдарьи?!

— О-о, Сырдарья богатая река, воды всем хватит, но в этой степи канала же нет!

— От тебя до сих пор всего каких-нибудь двадцать километров! Рабочих я у тебя не прошу, мы сами канал проведем.

— Этот шайтан Коста Илетакса во всем виноват! Я думал, он умирающего лечит, а оказывается, он тебе докладывал, что и как у нас здесь? Мы не умеем разводить виноградники, сколько раз я должен это повторять?

— Я тоже уже говорил тебе, что мы вместе с казахами будем работать, отпуская их сюда в свободное время, мы научим их виноградарству. Пошли молодежь на курсы, в институты, пошли в Грузию. Они это дело быстро освоят и все эти бесполезные степи в виноградники превратят!

— Беда мне! До сих пор был один шайтан — Илетакса, теперь еще ты! Что ты хочешь? Я вас звал? Приехали сюда и хотите здесь иметь все, что у вас было дома!

— Ты не звал, но и мы сюда не рвались. Мы предпочли бы жить у себя под открытым небом, чем в твоих овчарнях...

— Ну, зачем так говоришь? — как мяч, подпрыгнул Тасанбаев. — Разве я виноват? Мне приказали, даем тебе столько-то бандитов, изменников, контриков, держи в своем совхозе и пусть работают. Что я мог сделать? Где я мог разбойников поселить? Думаешь, я сам во дворце живу?

— Мы вам и за это очень благодарны. И овчарни большое добро для детей, в декабрьскую стужу выбро-

шенных на улицу. Они ведь такие преступники, что недостойны жить даже в глинобитных лачужках, о которых я прошу...

— Что ты хочешь, что тебе от меня нужно, что? — вскричал покрасневший, как бурак, Тасанбаев. Его глаза-бусинки сверкали от злости.

Злость душила и Алекси. Что это, в конце концов? Неужели в своей необъятной стране он всегда будет оказываться в тупике?!

— Мне от тебя ничего не нужно, — возмущенно возразил он Тасанбаеву. — Я не ставлю тебе в вину то, что вот эта твоя родная земля превратилась в могилу множества грузин. Я подумал: дай-ка от имени погибших здесь моих соотечественников привьем здесь лозу. Оставим казахам здесь не только кости наши, а кусок живого сердца. Так я подумал... Не хочешь, не надо!

Алекси встал.

— Завтра выйду на хлопковую плантацию, директор, — сказал он ледяным тоном и ушел от Тасанбаева, словно растворился в сумерках, сгустившихся над таинственно шелестевшей цветочной степью.

Глава вторая

«...Олег, с днем Победы тебя! Ничего, что здесь нет холма и нет нашего старого дуба. Ты здесь, со мной, и здесь эта маленькая акация. Отсюда все видно. Смотри, видишь, за какое хорошее дело взялись мы в этом чужом краю? Когда у Одера мы получили пополнение, ты сказал: «Эти ребята так похожи друг на друга, будто их всех одна мать родила!» Мы знали, что делало похожими друг на друга тех совсем разных ребят. И сейчас то же самое. Казахи и ирмисцы — очень ведь они разные, разные грек Илетакса и казах Тасанбаев. Но все они удивительно похожи друг на друга, потому что они, как и те солдаты на Одере, служат добру. Мы стараемся сделать своими друзьями землю, воду, солнце и даже ветер. Будь с нами, Олег, брат мой, и удача будет сопутствовать нам. Наш чудесный философ Коста Илетакса — целитель больных людей и машин, поэтому он нужен везде, всем, всему району и поэтому он стал нашим разведчиком и связным. Он зор-

ко следит за тем, где укрепляет свои позиции наш противник. Магжан Тасанбаев—наш заслон и командир штурмового отряда. Он принимает все бои на «большой земле». А наш главный противник на «большой земле» — комендант, отлакированный внутри и снаружи человек. Свое назначение он видит в том, чтобы ловчее притеснить, оскорбить и обездоляет людей, высланных сюда. Каждого из нас он подозревает в будущих кознях и поэтому старается быть предельно бдительным. Тасанбаев зовет его «холерой», Илетакса — «вирусным микробом», а я думаю, что просто он — Рафиэл, Медведев, Джибо, Гулвардишвили. Они, оказывается, всюду гнездятся...

Олег, я не знаю, еще сколько раз День Победы мы встретим с тобой здесь, у этой акации, но ты обязательно должен быть неразлучен со мной. Как-то однажды я потерял тебя и чуть было не остался в пустыне. Когда ты со мной, мне не страшны ни трясины, ни вирусы, ни холера, ни воронье. Ты веришь сам и внушаешь мне веру в то, что я не умру вдали от Ирмиси, что нигде в другом месте земля не примет меня... И когда я снова обрел тебя, в степи возник поселок. Дети назвали его «Цветочный». Видишь? Это не просто поселок и не просто сорок глинобитных лачуг, это — прекрасное завоевание Добра! В каждом том домике греет очаг, и у каждого очага ты такой же желанный гость, каким был в Ирмиси, каким желанным есть Добро всюду на земле... Олег, я могу обрадовать тебя: нам разрешили написать домой! Ушли первые письма, и теперь люди ждут ответных писем. Ты знаешь, наши женщины каждое утро и каждый вечер с таким упоением шлют проклятия злу, погнавшему их сюда, словно молятся, и иногда я еле сдерживаю желание крикнуть: Аминь! Аминь!...»

* * *

Первые письма, полученные из Казахстана, всколыхнули Дарианский район. Они были вестниками жизни, и какое значение могла иметь дальность расстояния?

Вскоре переписка, а затем и отправка посылок в Казахстан так участились, что стали неотъемлемой деталью будней района. И жизнь, всепобеждающая, не-

одолимая, искала и постепенно прокладывала нужное ей русло.

В объединенном ирмисском и натадзарском колхозе все работы выполнялись вовремя и хорошо. Урожай взвешивали, измеряли, считали. Государству сдавали положенное. Людям оплачивали труд. Прибылью обогащали общую кассу. Важа Кверенджадзе был хорошим председателем. Он был всеми любимый Важа, но...

Но ирмисцам очень не доставало чего-то иного, что превратило бы материальные блага в источник радости. Они не могли бы объяснить, что ушло с Алекси, без чего достаток стал лишь выражением количества трудодней, а выполнение планов — чем-то вроде выкупа векселей; и дни стали, как близнецы, похожи друг на друга, отличаясь друг от друга лишь видом выполняемых работ.

«Добро бесконечно, оно всегда побеждает зло. Распогодится, настанут добрые времена, обязательно настанут!» — твердила себе Хатула. Она старалась убедить себя в этом для того, чтобы можно было жить, работать, общаться с людьми, чтобы суметь облегчить недетскую боль Сандрика, чтобы выдерживать немой укор, сивший в его глазах.

Мальчик трудно перезимовал. В тот канун Нового года он все игрушки и елочные украшения отослал в школу, оставив себе лишь белого мишку да лисичку с длинным пушистым хвостом. Он даже не смотрел в сторону нового дома. И в школу не хотел идти, но, к счастью, новый директор оказался хорошим педагогом и чутким человеком. Он ходил к школьникам домой, для каждого из них находил то самое нужное слово, которое будило в них желание учиться лучше прежнего.

«Распогодится, настанут добрые времена», — твердит себе Хатула и хочет в письмах Алекси вычитать подтверждение своим словам. Он не балует вестями о себе, может, надеется, что о нем узнают и из чужих писем. Он знает, что «чужих» писем нет, все письма, идущие из Казахстана в Ирмиси, имеют один общий адрес — «ирмисцам». Кроме того, он знает, что весточки о своих ближних ирмисцы вычитают и из дневников детей. Это идея Платона Шишнияшвили и его жены Лины. Дети, высланные в Казахстан, и дети, оставшиеся дома, аккуратно обмениваются своими дневниками.

Дневник маленькой Нато сперва Сандра заучивает наизусть, потом его читает весь класс, потом он переходит ко всем Додашвили, и наконец тетрадка со следами пальцев и слез возвращается к Сандра.

Описание жизни и быта, и отпечатки дней, прожитых адресатами, нанизываются друг на друга, складываются в главы, главы эти, переходя из села в село, обрастают, пополняются, будто люди сообща слагают сказание о жизни Дарианского района.

Узнав, что в Казахстане их соотечественники решили разводить виноградники, ирмисцы долго совещались, а потом начали диктовать агроному письмо — ответ в Казахстан.

— Пиши дальше, Хатула: «О саженцах несколько не беспокойтесь, пошлем вовремя. Нам обещали помочь выслать их самолетом. По всей Кахети отберем вам лучшие саженцы, не краснеть же грузинским виноградарям перед тамошним народом». Написала, Хато? Пиши дальше: «Вы о нас несколько не беспокойтесь, мы живем хорошо, ваши дома и усадьбы содержим в полном порядке, нигде нет ходу ни одному из тех, кто зарится на чужое добро. Здесь все у нас хорошо, только б глаза наши скорее увидели вас на ирмисской земле...» Написала? Пиши еще: «Мы хорошо помним, и вам помнить надо, что ни в какие жестокие времена грузины не теряли мужество, и вас накрепко обязываем к тому же...» Написала? Вот и хорошо, спасибо тебе, Хатула, дальше пиши от всех нас низкий поклон и Тасанбаеву, и Илетакса, и всем другим добрым людям. Готово? Дай бог тебе радости, Хато, сразу и пошли письмо, знаешь ведь, как они ждут...

Хатула отправила с дарианской почты письма и детские дневники и в глубоком раздумье вышла на улицу.

— Как поживаешь, Хатула?

Мелитаури спрашивал, Рамаз Мелитаури.

Хатула от досады покраснела даже.

— Спасибо, хорошо, — ответила она сухо и продолжала путь.

Больно стало Рамазу. Опять он наткнулся на ту

проклятую скалу, что стояла между ним и женщиной, шедшей рядом с ним.

— Мне поговорить с тобой надо, — сказал он упрямю.

— Отойди, Мелитаури, неудобно, люди видят.

— Я годами считался с этим, но теперь выслушай меня, мне необходимо поговорить с тобой.

— Не надо, и не иди за мной!

— Если не выслушаешь, я приду поговорить к тебе домой!

— Дарианцам свойственно врыватья в чужой дом. Теперь покраснел Мелитаури.

— Ошибаешься, Хатула, но сейчас не время об этом. Я должен с тобой поговорить, прикажи, где, когда я могу видеть тебя.

Мелитаури не собирався отступить.

«Этот человек не должен думать, что я обижена или виню его в чем-нибудь. Наоборот. Не будь того, что было, я не встретила бы с Алекси. О чем он должен говорить со мной? Сказал бы сразу, что ему надо, а то... Только дай дарианским злопыхателям повод для болтовни...» — с досадой думала Хатула, все убыстряя шаги.

«Ты похудела, Хатула, и стала еще нежнее. Не сердись на меня, ненаглядная. Я ведь не сержусь на тебя за то, что болен тобой, что пропадаю я, что нет мне другого лекарства, кроме тепла твоих глаз. А ты их в гневе отводишь от меня...» — тоскливо думал Мелитаури, продолжая идти с ней рядом, и так как Хатула медлила с ответом, он сказал:

— Я назначу совещание зоотехников, приглашу и агрономов. Приди обязательно, избавишь от затруднения и себя и меня...

Сказал и отошел от нее.

Совещание, назначенное Рамазом Мелитаури, оказалось очень дельным. «Собственный хлеб» занял все местные пастбища, и животноводы искали выход из создавшегося положения. Агрономам же до того осточертели препирательства с районным руководством, что они готовы были засеять пшеницей не только пастбища, но и дворы колхозников. Разгорелся горячий спор. Мелитаури вызывал людей на откровенный, смелый разго-

вор и люди говорили многое такое, о чем на других совещаниях даже подумать бы побоялись.

Хатула издали наблюдала за Мелитаури и удивлялась, что не испытывала к нему ни злости, ни ненависти. Ее не пугала встреча с ним. Казалось, вовсе и не было той буйной весны ее безрассудной юности. Удивлялась тому, что этот красивый и мужественный человек не вызывает в ней ни хороших, ни плохих чувств.

— Что ты хотел мне сказать? — спросила она, как только Мелитаури отпустил участников совещания.

— Прости, Хато, тебя, наверное, утомил этот шум.

— Что ты хотел мне сказать? — повторила Хатула, и от ее безразличного тона Мелитаури растерялся.

«Что я хочу сказать? Разве мне легко сказать то, что хочу сказать? И разве твой тон помогает мне? Но я должен сказать, а то когда же? Где еще я тебя увижу? Я не вынесу больше ни одной бессонной ночи...»

— Хочу сказать, чтобы ты покинула эту беспокойную, шумную долину. Отвезу тебя в горы Тушети, будешь жить в тишине и покое...

Хатула попыталась рассмеяться, но не смогла. Как бы ища опоры, она схватилась за дверную ручку.

— Почему ты говоришь мне это? — спросила она тихо.

Мелитаури тоже едва держался на ногах, он тоже вцепился в дверь.

— Не смог дольше молчать. Я так жестоко наказан...

— Если тебе больше нечего сказать, я пойду, темнеет.

Произвольно или непроизвольно, Мелитаури плечом припал к двери.

— Выслушай меня, Хато, мне многое надо сказать, но скажу коротко... Когда я встретил тебя, тогда я уже нигде, ни в ком не искал добра... И так бездумно, пусто, одиноко провел свою жизнь. Ты должна поверить, что я больше не вынесу этого одиночества. Все время я на людях и все время один. Вот здесь где-то, в сердце или в душе — одинок я и не могу больше это выносить...

Он не искал слов и не прислушивался к ним, го-

ворил медленно и тихо, сухими губами и усталыми глазами, казалось, не слова он произносит, а капля за каплей изливается накопившиеся в нем горечь и тоска, и раскаяние.

Хатула стояла не двигаясь. На лице ее ничего не отразилось. «Когда он стал таким?» — удивлялась она в душе. Она не усомнилась ни в одном его слове. Она сразу поверила, что этот человек глубоко несчастен.

Но в ту же самую минуту перед ней всплыло лицо Алекси, и только сейчас она поняла, что если бы в ту страшную декабрьскую ночь ему предоставили выбор между собственной жизнью и смертью, он выбрал бы смерть, но ради них, ради Сандра и Хатулы склонил смиренно он голову и сказал: «Воспользуемся гуманностью». И ушел, раздавленный своим смирением перед ненавистными гостями, не подымая головы, перешагнув порог своего дома... Только сейчас она поняла, что не случай, о котором она вычитала из дневника Натошки, а именно стыд смирения перед незаслуженной карой, стыд попранной гордости и человеческого достоинства увел Алекси в ту страшную пустыню!..

И Хатула едва сдержала крик.

Мелитаури протянул к ней руку, и еле заметное его движение вернуло Хатулу к реальности. «О чем я? А, да, когда Мелитаури стал таким?» — вернулась она к той внезапным видением прерванной мысли, и лицо ее опять стало холодным, замкнутым.

Мелитаури понял, что ошибся. Да, внезапно побледневшее лицо Хатулы вдруг охватило пламя, а в широко раскрытых глазах замелькали черные точки — да, все это было, но во всем этом никак не участвовал он, Мелитаури, все это было вызвано неведомым ему движением ее души. И он медленно опустил протянутую к ней руку.

«Говорит, не вынесет одиночества. Когда же он стал таким?» — подумалось опять Хатуле, а вслух она сказала:

— Ты молод, Рамаз, обзаведись семьей и не будешь одиноким, — сказала и почувствовала бессмысленность и беспомощность своих слов.

Глубокие морщины исчертили лицо Мелитаури. Он прислонил голову к руке, казалось, пристывшей к две-

ри. «А что я думал? На что я надеялся?» — мелькнуло у него в голове, и он беззвучно, про себя, рассмеялся. Потом вскинул плечи и отрывисто, будто слова царапали ему горло, сказал:

— Знаешь, что именно я не хотел говорить тебе?

Недоброе предчувствие сковало вдруг Хатулу. В ушах протяжно зазвенело. «Не говори», — чуть было не попросила она, но сдержалась и выпрямилась. Лицо ее стало до того невыразительным, что даже светлые волосы, казалось, утратили присущее им ласковое тепло.

Мелитаури перевел дух и громко сказал:

— Я не хочу, чтобы мой сын рос без отца!

В ушах у Хатулы зазвенело сильнее. Она отошла от дверей и присела на стул. Широко открытые глаза устремились на Мелитаури.

— Я не хотел этого говорить. Ты меня вынудила сказать. Напомнить то, что, как видно, легко позабыла.

Хатула сидела неподвижно, безмолвно, обуздывая свои чувства. И потом сказала:

— Тебе, краснобаю, больше подходит источать мед, чем яд. Мой сын — сын Алекси Рчеулишвили.

— Мальчик мой двойник.

Хатула не шелохнулась.

— Пока был Рчеулишвили, я берег покой и благополучие ребенка, заставляя себя терпеть одиночество. Я берег твой покой. Теперь же...

— Алекси вернется, — тихо перебила его Хатула, и вдруг старательно обузданные чувства прорвались. Она вскочила. — А если ему не суждено вернуться, то подавитесь вы все, ты и твой покровители, подавитесь вы этой лозой и этой землей! Я и мой сын поедem к Алекси!

— Разве ты знаешь, разве кто-нибудь знает, что ожидает Алекси? Мальчик не должен расти без отца, когда существую я, его отец.

У Хатулы то темнело в глазах, и тогда ей казалось, что в комнате слоняются какие-то призраки, то она снова отчетливо видела неподвижно стоящего у двери человека с высоко вздернутыми плечами. Потом ей показалось, что не ее — чей-то чужой голос проговорил:

— У тебя черствое сердце, Мелитаури, ты легко вычеркиваешь человека из списка живых.

Теперь ошибалась Хатула. Из бездны своего одиночества он видел ее, как кинжалом, исполосованную его словами. Разве об этом он мечтал все эти долгие годы?

— Нет, Хатула, не я вычеркиваю людей из числа живых, я только знаю, как их легко вычеркивают... — И опять казалось, что не слова он произносит, а капля за каплей изливается накопившаяся в нем горечь: — Я когда-то жадно, как оглашенный, тянулся к жизни, но готов был жизнью поручиться за людей, заменивших мне отца и мать, которые меньше, чем Алекси Рчеулишвили, провинились в чем-нибудь. Да, да, Хато, поверь, не колеблясь отдал бы я жизнь, лишь бы мне поверили, что единственное их преступление было то, что они чрезмерной любовью и заботливостью своей избаловали меня. Но «черный ворон» забрал их, и они погибли... И тогда я сам вычеркнул себя из жизни. Себя вычеркнул. Потому, что не смог примириться с насилием над человеком, над его жизнью, верой, волей... Ты подумала, я обращусь в какой-нибудь суд? Подумала, силой вырву твое согласие? Нет, Хато, нет. Я тоскую по тебе и по сыну своему. Не по праву, нет. Сердцем своим. Не приведи тебе знать, как мучительно, как невыносимо это...

Слабая искра безрассудной надежды, жившей в сердце Мелитаури, погасла. Глаза и губы, и все лицо у него стали безжизненными. Только голос его был еще живой, живой и страдающий.

— Не думай, что я увидел тебя беспомощной, беззащитной и потому осмелился сказать. Нет. Во всем ты оказалась счастливее меня. Ты веришь, что Алекси вернется. Я ни во что не верю. И в его возвращение не верю. Потому сказал. Не гневайся, Хато, не презирай меня...

Опустив голову, Хатула медленно направилась к двери.

— Я буду молиться, чтобы Рчеулишвили вернулся. С того самого проклятого дня нашей разлуки ты была полна забот о ребенке. Я лишил себя этой радости. Моя забота может выразиться только в молитве, в молитве неверующего человека. Я буду молиться, что-

бы к моему сыну скорее вернулся достойный его отец...
Отяжелевшие веки Мелитаури сомкнулись. Без-
жизненное лицо его стало похоже на гипсовую маску.
Хатула выбежала из комнаты.

Глава третья

В Казахстане, в поселке Цветочном маленькая На-
то продолжала писать свой дневник:

«Среда, 27 декабря.

Я пишу каждый день, и всегда получается, что я плохая девочка, а потом это читает Сандра и весь наш класс... Что они подумают обо мне? Сегодня наш учитель, дядя Платон, сказал: ты должна была лучше выучить урок, а разве я виновата? Вчера, только мы приехали из школы и я с Осико сели готовить уроки, как Лиза говорит: побудьте с Иичкой, а сама убежала к женщинам, которые шьют мешки для хлопка. Моя мама тоже шьет мешки. А Ия начала реветь, и я с Осико подумали, что она голодная и дали ей кумыс, она с большим даже удовольствием выпила полную кружку, а потом у нее все пошло обратно. Мы испугались, начали кричать, и все прибежали, а Лиза так сильно испугалась, чуть-чуть не упала, и мама сказала, что меня надо убить. Взрослые всегда хотят все свалить на меня! Я очень расстроилась и не хочу никакого Нового года, ни отличных отметок, ни этого противного снега. Куда ни посмотришь, только снег да снег! А мне хочется в Ирмиси, больше ничего. Потом пришел дядя Алекси и тихонько, чтобы другие не слышали, сказал мне: раз ты мой Вергилий, тебе плакать нельзя. Дядя Коста рассказал мне, что Вергилий был такой человек, который давно-давно жил, когда еще был рай, и он работал проводником и проводил из ада в рай. Я сказала дяде Алекси, почему все говорят, что дядя Сталин самый хороший, ведь он не послушал ирмисских детей, когда они просили вернуть нас обратно. А дядя Алекси закрыл лицо руками и сидел так долго-долго, а потом сказал, что Сталин не

получил письмо из Ирмиси, потому что у него сторож все равно как злой колдун, не пропускает к нему хороших людей и письма хороших детей и у него нету такого Вергилия, как я. Тогда я сказала, что я еще маленькая, а дяде Сталину нужен такой Вергилий, как дядя Алекси или дядя Коста, или дядя Магжан Тасанбаев, и дядя Алекси много смеялся, а потом сказал, что детям пора спать».

«Четверг, 28 декабря.

Когда мы сегодня поехали в школу, ветер сорвал крышу нашей машины, и дядя Коста очень сердился на шофера, почему он не укрепил крышу, а меня привязал поясом, чтобы ветер не унес. И мы опоздали в школу. Там все очень беспокоились за нас, сразу дали нам горячий чай с медом. А Салима Тасанбаева укутала меня в свой теплый платок, и я скоро согрелась и выпила много чаю. Здешний чай ничего себе, только почему-то зеленый. Скоро наступит Новый год, а потом будет 3 января и мне исполнится 11 лет. А когда мне было 10 лет, мы ехали в эшелоне и так было холодно, что если кому-то хотелось пить, лед рубили топором, а сейчас в нашем Цветочном, что дядя Алекси построил, во всех домиках есть очаг и кизяк, и стебли хлопка, кукурузы и подсолнуха. Очаг горит и очень тепло. В Ирмиси я и не знала, что такое кизяк, а сейчас знаю, что он хорошо греет, если нету дров. Бабушка сказала: хватит тебе писать, керосин кончится, а мама сказала: пусть кончится, к черту керосин, завтра будет электричество. А бабушка сказала: может, будет, может, нет, этот сумасшедший ветер может помешать людям работать, и не будет электричества. А в Ирмиси сейчас электричество светит ярко, как солнце, и все готовятся к встрече Нового года, но я знаю, что наш класс не будет такой веселый без всех нас, без меня, без Осико и без других детей. Когда тетя Хатула пришлет дневник Сандрика, мы все узнаем».

«Пятница, 29 декабря.

Нам раздали табели, и у меня все только отлично, и у Салимы тоже, а Солико получил уд по арифметике и плакал, и сказал: я не виноват, я хорошо знаю грузинский, а русский не знаю, и не пошлю дневник в Ирмиси, чтобы мальчишки не смеялись, а дядя Пла-

тон его утешал, сказал, что на каникулах позанимается с ним и он получит отлично с плюсом, и еще он сказал, что я получу неуд, если не буду дружить со знаками препинания, и я обещала, что обязательно буду. А бабушка сказала: раз ты так любишь дядю Алекси, покажи ему свои отметки, порадуй его. Бабушка не знает, что я для дяди Алекси Вергилий. А потом дядя Алекси всех детей позвал в свой дом и открыл большущий ящик, который прислали из Ирмиси, а в ящике была елка, такая большая, как я, и мы очень обрадовались, потому что здесь совсем нету деревьев. Когда дяде Алекси нужны были деревья для защиты от ветра, он поехал и привез маленькие тополя. За ними все ухаживают, как за детьми, их поливают водой из арыка, который дядя Алекси и все наши провели от совхоза, а когда стало холодно, на них надели ватники. Больше всего мы обрадовались тому, что елка к нам приехала из Ирмиси. Еще в ящике была большая кукла, а в письме было написано, что купила эту куклу в Тбилиси Хатула мне в подарок ко дню рождения, и звать ее Гулнази. Я плакала, потому что хочу в Ирмиси. Вчера мы все собрались у дяди Коста, клеили бумажные мешочки для ирмисских детей, наполняли их изюмом, сушеной дыней и урюком, а потом я диктовала, и дядя Коста писал на мешочках имена и фамилии детей. Дяде Коста всегда надо ставить отлично с плюсом, потому что он сразу учит урок по-грузинскому и наизусть знает, как звать ирмисских детей и все улицы Ирмиси.

«Суббота, 30 декабря.

Я хочу бегать, прыгать и смеяться, и все хотят смеяться, потому что у нас есть электричество, на улицах и во всех домах стало так светло, так светло, что просто нельзя сказать! Здесь всегда бывает очень-очень сильный ветер и потому нету столбов, и электричество идет под землей.

Сегодня все мамы и все бабушки готовят разные вкусные угощения и потихоньку от нас плачут, потому что они тоже хотят в Ирмиси.

Дядя Коста здесь всем выдумывает имена, и мою мамочку назвал Беатриче, а бабушке говорит: мадам Наталиа, а мне говорит: мадмуазель Натали. А наша

елка стоит в доме Осико, потому что дедушка Иваника умер, и там сейчас много места. Дядя Платон мне опять сказал: Нато, когда ты пишешь дневник, следди за точками и запятыми, у тебя совсем их нет. И я сейчас буду ставить много знаков, а потом посмотрю дневник Сандра, как у него со знаками препинания. Ох, хоть бы мне одним глазом увидеть, что сейчас делает Сандрик и другие мои подружки и товарищи».

«Сегодня четверг, уже 4 января 1953 года. Сколько мне надо писать, а у меня все в голове перепуталось. У нас была такая красивая елка, такая красивая, ну просто словами не описать. Было много гостей из совхоза, и моя подруга Салима, а дядя Коста был Дедом Морозом и всем детям раздавал подарки, и мы танцевали вокруг елки. Потом кто-то спросил, где Алекси, и я тихонечко побежала к нему домой, а он сидит в темноте и держит дневник, который в последний раз прислал Сандрик. И дядя Алекси сказал: прости, что я без спросу взял у тебя. Я сказала: если я твой Вергилий, я останусь здесь с тобой, потому что мне нельзя на елке без тебя. Тогда дядя Алекси засмеялся, взял меня на руки, и так мы пошли на елку. Салима и тетя Куляш, и дядя Магжан мне подарили желтые шаровары и алого цвета халат, а еще пестрый кушак, и, когда я надела все новое, дядя Коста сфотографировал меня. Когда карточка будет готова, я пошлю ее Сандрику...»

Ручка выпала из рук Нато. Она так крепко уснула над дневником, что не почувствовала, как бабушка раздела ее и уложила в постель рядом с Салимой, которая уже спала сладким сном.

На следующий день опять было снежно и морозно.

Время было послеобеденное, люди сидели в своих заснеженных домиках, и лишь струйки дыма над кровлями выдавали жизнь, затерянную в бескрайних степях.

Коста решительно постучал и, не дожидаясь ответа, вошел в комнату Алекси. Сбросив доху и пимы возле двери, он присел к очагу и без всяких вступлений, без обычного многословия сказал то, что давно собирался сказать Алекси, потом снял очки и уставился на тлеющий кизяк.

Алекси, тоже не отрывая глаз от огня, молчал. Он

знал, что Илетакса, быстро перезнакомившись со всеми ирмисцами, привязался к ним. Ирмисцы полюбили этого с виду нескладного человека, высоченного, толстого и близорукого. Дружба эта особенно окрепла, когда Илетакса однажды явился в Цветочный со своими пожитками и поселился в одном из глинобитных домиков. Наделенный неиссякаемым оптимизмом, мужественный, заботливый, особенно к детям, он стал столь же необходимым для ирмисцев, как для самого Илетакса — их тепло и дружба. При всем этом Алекс чувствовал, что отношение Илетакса в семье Додашвили давно перешагнуло за грань обычной добрососедской привязанности. Для него не такой уж неожиданной была весть, услышанная от Коста.

«Если детям Ола не суждено дожждаться отца, лучшего отчима я бы не мог им пожелать, — глядя на огонь, думал Алекси. — Ты достоин счастья. Мне все время кажется, что в какой-то прошлой своей жизни я встречал тебя, долгоязого, шумливого, неустанного предводителя окрестных мальчишек. Видел тебя сидевшим над изучением анатомии человека и за чтением Гомера, а позже — бесстрашным солдатом Сопроотивления. Конечно, ты достоин счастья, но ведь все думают, что Элизбар жив?! Я-то не верю этому, но кто знает, вдруг он объявится, тогда как?»

— Чего молчишь? — нарушил молчание Илетакса.

— А знаешь, Коста, что говорит Наталиа? Мол, если нас из-за моего сына выслали, значит, он жив. А если он жив, где бы он ни был, все равно ничего постыдного он не совершит. Он знает — дома его ждет мать, ждет жена, ждут дети, Ирмиси и могила отца. Не такой он парень, чтоб отрезал себе путь к родному дому... Так говорит Наталиа, слышишь, Коста, она надеется, что ее сын вернется!

— Я понимаю, она мать. А как ты не понимаешь? Если муж двенадцать лет не сообщил, что он есть живой, если он правда есть живой, все равно он миф!

— Может, у него нет возможности написать.

— Все равно. Я зовсем не мечтаю, штоб он умир, пускай будет живой! Но если он двенадцать лет как-нибудь не сказал жене, што есть живой, он очень-очень

плохой мужчина! Он уже потерял права, моральная права!

— Почему? Жену и детей он поручил матери.

Алекси впервые видел Коста таким взволнованным. В потоке русских, грузинских, греческих и казахских слов с трудом угадывался смысл сказанного им:

— Я очень-очень уважаю мадам Наталиа, но она не должна быть тюремчик для молодая женщина. Ола только 34 года, и она подарила ей три Додашвили, и мадам Наталиа сама должна сказать: иди замуж, может будет еще три детей!

— Что и как будет — неизвестно, но не торопись, Коста, поверь, это всем будет больно.

— Зачем больна? Многа-многа больна есть трагедиа Софокла, я не хочу трагедиа, не хочу больна, что я хочу плохая, что?

— Нет, Коста, не плохое, а трудное это дело, понимаешь? Детей ни Ола, ни Наталиа не уступят друг другу.

Илетакса так подскочил, что чуть не стукнулся головой о потолок.

— Зачем уступить? И я не буду уступить! Я хочу, штоба все вместе! Я хочу и дети, и Наталиа, и Олико! Я плохое дело хочу?

— Но ведь недостаточно одного твоего желания, может, Додашвили не захотят тебя?

— Зачем не захотят, зачем? Я плохая человек? Я настоящий рабочи класс. Когда больной есть, я могу полечить. Виноград нада — на виноградник работать могу. Хлопка нада — на хлопка плантация могу. Почему не захочет Додашвили, почему?

— Успокойся, Коста, — Алекси еле сдерживал желание приласкать этого человека с открытой и чистой душой. — Успокойся и повремени. Не торопись, очень тебя прошу, подожди!

— Магжан хорошо кричит: Иой! Я тоже кричу: Иой! Я сичас напишу твоя Хатула, што ты есть камень, натуральная камень. Напишу Хатула, што я так думаю о тебе, сичас напишу!

Коста побежал к себе писать письмо Хатуле. Но, видать, в тот вечер ему не суждено было осуществить свое намерение.

В наступивших сумерках воздух вдруг огласился свистом дрозда.

Будто по сигналу, разом ожил поселок. Из всех сорока домиков высыпали на улицу люди. Не часто встретишь такого мужественного дрозда, который прилетит сюда в морозную зиму и свистом своим всколыхнет душу! Все шарят глазами по кровлям, по обнаженным кустам, каждый старается первым обнаружить этого чудесного, сумасшедшего дрозда. Все, кроме Дали из дома Озбетелашвили. Дали знает: ни один дрозд на свете не свистит так красиво и, если сказка когда-нибудь оборачивается былью, она сейчас увидит Малхаза!

И увидела. Идет Малхаз. Овчинный тулуп нараспашку, на плече пестрая переметная сума, из-под каракулевой шапки, сдвинутой на затылок, виден черный, взмокший чуб.

Смотрит на него Дали и не может сдвинуться с места, лишь беспомощно хлопает глазами. А кругом кричат:

— Это Малхаз!

— Э-эй, Малхаз!

— Неужто в самом деле это ты, парень?!

Люди окружили его тесным кольцом. Он сейчас вправду всем кажется дроздом, ранним вестником весны, прилетевшим с земли обетованной.

Только Дали стоит поодаль, никак не уймет сердца своего: «Ну чего они окружили его, как птицу заморскую!». На глазах у них вырос парень. Девчонки даже дразнили Дали, подумаешь, мол, прицепщик! А сейчас каждый тянет его в свою сторону, все норовят пощупать, похлопать его по спине. А вдруг этот глупый заблудившийся дрозд взмахнет крыльями, скроется с глаз, и люди скажут, что она сошла с ума, что ей все это почудилось в томительные студеные сумерки.

— Нашел я вас... — без конца повторяет Малхаз. Он прошел этот долгий путь, расспрашивал, искал, нашел, но глазам своим еще не верил. Ему казалось невероятным, что в этой бескрайней заснеженной степи он нашел ту, на поиски которой пустился за триде-

вять земель. Нашел девчонку, смуглую, длинноногую, такую тонюсенькую, что талию браслетом можно обхватить.

В общем гомоне никто не замечает, да и заметив, никто не удивится, что, увидев Малхаза, девушка остолбенела, а парень, вытягивая шею, взглядом выхватывает из толпы лишь ее одну и на все вопросы твердит: «Нашел я вас, нашел...»

И Алекси не обратил бы на это внимания, не довесь ему невольно подслушать их разговор в Ирмиси, на тропинке у дома Озбетелашвили.

Но откуда, как и что почуял этот шайтан Илетакса?! Он подошел к Алекси и с заговорщицким видом шепнул ему:

— Што? И сичас ты думаешь, что Элизбар Додашвили не мог сказать жене: подожди, я есть живой?

* * *

Сандра спит, положив под подушку дневник Нато, привезенный Малхазом. А Хатула сидит у очага и уже в который раз читает-перечитывает тетрадь с записями Илетакса, которые снабжены предисловием и послесловием автора. В предисловии Илетакса писал:

«Дорогая друг моя Хатула! Я посылаю многа-многа привет и добрая пожелания Вам и Ваш маленьки Сандра. Перва-наперва очень спасибо за «История материальной культуры Грузии» и словарь. Вы уже сделал для меня богатый интересный библиотек и помогал изучение истории Ваша прекрасная страна, и за то я поцелую Ваши руки. Дорогая друг! Я всегда исполнил Ваша просьба и аккуратна сообщал история поселка Цветочная. Сичас тоже я исполню Ваша пожелание, штоба я прислал портрет Ваш мужа, какой он есть здесь. Паэтому я посылаю немного листочки, где есть тоже моя сердечна история, потому что эта записка я делал для себя по-гречески на свой блокнот, а сичас для Вас делал выборка из блокнот и делал перевод, штоба Вы знали, как я думал про Ваш супруг, а сичас зовсем не думаю так. Моя за-оч-ная друг Хатула (эта очень трудная слово, но я пока не есть большой мастер грузинский язык, но потом буду), штоба Вы хорошо

понимал моя записи, я просил учителя Платон делать поправка. Платон и учительница Лина есть моя дру- ги и можна, штоба они читал мои записки.

Ваш слуга К. Илетакса».

Из блокнота Илетакса:

«...В страшную февральскую ночь ирмисцы разыскали директора совхоза Магжана Тасанбаева, плакали и умоляли найти человека, который ушел из барака и пропал. Тасанбаев с охотниками и умной собакой Нероном нашел этого человека в пустыне Кызылкум и сказал коменданту: «Подожди наказывать, скоро мы его будем хоронить». А потом сказал мне: «Коста, раз люди плачут и просят спасти его, значит, он хороший человек. Сделай все, чтобы спасти его, а там видно будет!»

Не знаю, за что боги рассердились на меня. С того дня они поселили меня на вулкане и не оставили мне времени ни для Гомера, ни для Данте и Вергилия. Я все время спасал этого человека, потому что люди говорили: «Он нам очень-очень нужен». Я им сразу поверил, потому что они, несмотря на свое положение, ничего не просили, только говорили: «Нам его жизнь нужна!»

Родина этого человека — Грузия, а его деревня называется Ирмиси. Люди из Ирмиси сказали мне, что они называют этого человека Гонджаура. Но они не могли мне объяснить, что такое Гонджаура, и ни в одном словаре я не нашел этого слова. А его спросить не могу, потому что люди поведали мне об этом по секрету...»

«...Может, Гонджаура значит новый поселок?

Этот человек, едва окреп, начал строить такие планы, что мне казалось, он — просто сумасшедший. Но он поговорил с Магжаном Тасанбаевым, и Тасанбаев мне сказал: «До сих пор у нас был один шайтан, а теперь вас стало двое!». И я понял, что он будет во всем помогать этому человеку, но еще не совсем знал, почему я так обрадовался. Ирмисцы получили нужный материал и быстро построили сорок глинобитных домиков, и в степи родился поселок, который дети называли Цветочный. Поселок — это одна улица, по обе стороны которой стоят по двадцать домиков. Я тоже

захотел жить в этом поселке, и очень хороший секретарь Абай-Базарского района разрешил мне, и я из совхоза переселился в Цветочный, и теперь все ирмисцы — мои друзья.

Уже тогда, когда этот человек был болен, я узнал и полюбил ирмисцев, но больше всех я полюбил маленькую Натали. Она была моим ассистентом, и я увидел, что в ее маленьком сердце много горя и добра и она настоящий философ. Свой ум она, конечно, получила от своей бабушки, мадам Натали, которую я очень-очень уважаю. Я полюбил и ее братьев-близнецов Патику и Зурико. Они большие шалуны, не дают мне покоя и всюду суют свой нос. А еще я полюбил их маму. Она всегда одета в скромное темное платье, у нее высокая белая шея, а на голове, как очень-очень дорогая корона, лежат ее черные косы. Когда она идет по Цветочной улице, я думаю, что она Беатриче... И я счастлив, что в степи вырос поселок...»

«...Может, Гонджаура — вода?»

Этот человек со своими ирмисцами прорыл арык в двадцать километров, и большая Сырдарья пришла в наш маленький поселок. Сперва он провел воду к ветрозащитным тополям, которые он привез из Абай-Базара. Потом воду провели к домикам и садикам, в которых ирмисцы посадили фруктовые деревья и разные овощи. Когда они работают на хлопковых полях, тогда маленькая Натали, Дали и ее братишка Осико вместе с другими детьми поливают сады — так им велел этот человек, и дети охотно выполняют эту работу. Дали и Осико я тоже люблю, это очень-очень хорошие дети, они часто ходят на могилу дедушки Иваника. Алекси посадил на могиле гранатовое дерево, и оно хорошо растет, потому что он и туда подвел маленький арык. И я теперь думаю, может, Гонджаура — вода, которая нужна людям и растениям?..»

«...Может, Гонджаура — земля?»

Я пошел к Магжану Тасанбаеву, и у нас завязался очень интересный диалог. Я сказал ему:

— Ты нам дал один плохой трактор, а нам надо два хороших!

— Откуда я возьму хорошие тракторы, откуда? У меня тракторный завод, что ли?

— Не кричи, Магжан, а слушай. Тракторный за-

вод есть у правительства, а ты — депутат Верховной палаты. Коммунисты говорят: депутат — слуга народа. Ты пойдя к правительству и скажи, что для службы народу тебе нужно два хороших трактора!

— Иой, нельзя все время требовать — дай, дай! Шайтан ты и твой Рчеулишвили, из-за вас я потеряю партийный билет!

— Пожалуйста, не кричи, Магжан! Ты настоящий Герой труда, но ты не работал с разбитыми тракторами? И раз у тебя в кармане партийный билет, ты обязан делать хорошие, добрые дела. Ты хороший человек, правильно, что тебе дали партийный билет, а виноградники — такое нужное дело, что тебе дадут второй билет!

Магжан так посмотрел на меня, как будто я выстрелил из пушки, а потом схватился за волосы (только у него на голове мало волос) и убежал от меня. Но клянусь богами, хороший человек — победа хорошего дела. В Цветочный пришли два новых трактора!..

Ну, конечно, боги убежали с Олимпа, когда человек выдумал трактор. И у меня тоже от шума тракторов болят мозги. Леон Рчеулишвили хороший человек, и я рад, что Лизико ему подарила малютку. Дедушка Наскида из Ирмиси попросил, чтобы малютку назвали Иа. Мне это очень нравится, потому что у крошки глаза, как настоящие пармские фиалки¹.

Когда Леон и его напарник, казах Исатай Гулумбек, устали, Алекси мне сказал:

— Коста, твои заграничные мерседесы, форды, опели — все ерунда, давай мы с тобой сядем на трактор, посмотрим, кто из нас молодец.

Я сел за руль трактора и очень обрадовался, когда победил этого человека!

Наконец мы кончили пахать, и я думал, что все, теперь будет тишина! Но разве этот человек даст отдохнуть? Он прицепил к тракторам культиваторы и снова началось трах-трах-таррах!

И я увидел, что земля красивая, черная и блестящая и похожа на волосы ирмисской Беатриче...

Когда тракторы ушли, Алекси сказал:

¹ Фиалка по-грузински иа.

— Теперь земля пусть отдохнет, а мы поедем собирать хлопок.

А я смотрел на землю и думал: может, Гонджаура — красивая, черная, ароматная земля, на которой счастливо живут виноградары?..»

«...Однажды я сидел на стоге сена и думал о Беатриче. Он пришел, весь заляпанный грязью, потный, с киркой и лопатой в руках, и я подумал, что Гонджаура просто-напросто — проза, реалистическая, рабочая проза. Он подошел ко мне и тихо сказал:

— Коста, посмотри туда, видишь заснеженные горы?! Смотри, как сверкает храм Алаверди!

Я ничего этого не видел, кругом до самого горизонта простирались степи, но у Алекси было такое лицо, что я вдруг увидел все, о чем он говорил... И тогда я подумал, что Гонджаура — это поэзия, и хотел сказать ему какие-то теплые слова, но он вдруг обернулся и говорит:

— Коста, будь другом, помоги детям отправить в Ирмиси коллекцию бабочек.

И что вы думаете? Я, как мул Магжана Тасанбаева, вместе с детьми скакал по степи, ловил красивых бабочек, потом мы их наклеили на картон, картонные бабочки уложили в ящик, и я отнес ящик на почту и попросил начальника, чтобы на ящике написали «осторожно» и отослали поскорее, потому что казахстанские бабочки едут в ирмисскую школу, в которой учится Сандра — сын Алекси Рчеулишвили. Начальник почты уважил меня, а я ушел печальный, потому что опять не знаю, что такое Гонджаура...»

«...Однажды этот человек говорит мне:

— Коста, скоро наступит 1-ое сентября. Давай подумаем, как дети будут ходить в школу?

А что я могу подумать? Школа в совхозе. Откуда я знаю, как дети будут ходить в школу за двадцать километров?

На другой день поздно вечером я зашел к директору совхоза и у нас получился такой диалог:

— Добрый вечер, Магжан, желаю тебе хорошей погоды для хлопка!

— Чего ты хочешь от меня, Коста, почему ты отравляешь мне жизнь?

— Моя профессия лечить, а не отравлять людей.

Магжан встал и очень вежливо сказал:
— К сожалению, у меня нету времени для приятной беседы с тобой, меня ждут на МТСе.

— О, как раз я хотел тебе сказать, что на МТСе тебя ждет сюрприз!

Магжан сразу стал похож на уссурийского тигра.

— Я сыт твоими «сюрпризами», до свиданья!

Он хотел убежать, но я предусмотрительно схватил его за полу халата.

— Иой, шайтан Илетакса, что надо, говори скорей!

— Успокойся, Магжан, от тебя ничего особенного не нужно, только послушай меня: ирмисские парни на совесть работают в совхозе, потом они не отдыхают, а работают в Цветочном, потом, вместо того, чтобы отдыхать, работают возле МТС — из выброшенных на свалку сломанных, негодных частей они собрали для твоего совхоза газик и выкрасили его... А еще в Советской стране есть такой прекрасный закон, чтобы все дети учились. А дети, которые живут в Цветочном, не должны учиться?

— Я разве мешаю? У нас хорошая школа, пусть учатся!

— Да-а? А ты не задумывался над тем, как они будут ходить в твою школу?

Магжан громко застонал:

— Что ты надумал?

— Совсем простую операцию: школа-поселок, поселок-школа, в день всего-навсего два рейса грузовика. Не кричи, Магжан, я тоже буду с ними ездить, тебе экономия.

— Нету у меня грузовика! Сделали газик, пускай ездят сами!

— Мы не поместимся в этот красивый директорский газик. Дети не смогут учиться, и твоя Салима сгорит от стыда из-за того, что в совхозе много машин. А директор совхоза жадный человек, не хочет, чтобы ее ирмисские подружки и товарищи учились!

Магжан просто обожает свою пятую дочку Салиму, и, когда я произнес ее имя, глаза у него стали влажными. Потом он схватился за голову и убежал.

А 1-го сентября в Цветочный пришла крытая презентом машина с деревянными лавками.

Весь поселок провожал детей в школу. Я тоже ехал

с ними на работу. Очень-очень весело ехали. Дети спросили:

— Дядя Коста, кто нам дал машину?

И я не смог ответить им. Я не знаю, кто дал им машину. Магжан Тасанбаев? Коста Илетакса? Алекси Рчеулишвили — Гонджаура?..»

«...Теперь я знаю, что такое Гонджаура!

Я всю неделю не выходил из больницы, только в субботу вечером вернулся домой и мечтал поспать и отдохнуть. Но на рассвете меня разбудил шум. Я вышел на улицу.

Шесть гектаров подготовленной земли разделены между шестью бригадами. В каждой бригаде есть и ирмисцы, и казахи. Каждый гектар земли поделен на квадратные метры, и там, где линии пересекаются, вырыты небольшие ямки. Женщины проходят с корзинами и возле каждой ямки оставляют саженец. Мужчины опускают саженец в ямку, засыпают ямку землей. Я хожу по пятам за Алекси и учусь, как надо высаживать виноградник. Шесть дней работали шесть бригад и посадили 60.000 саженцев кабернэ, саперави и баянширей. Под конец саженцы полили водой из арыка.

А потом в Цветочный приехал Магжан. На улице разожгли костер. Мадам Натали приготовила плов с урюком и жареной бараниной. Когда все сели за стол (на землю, конечно), Алекси поднял пиалу с вином и сказал:

— Мир строят хорошие люди, и в этом мире много хороших, добрых людей. Человек, сам испытавший горе, чуток к бедам других. Магжан, может, вслух ты не можешь назвать нас друзьями, ведь нас сюда выслали, как преступников, но знай, что мы, ирмисцы, пока живы, будем помнить вашу доброту, будем верными друзьями тебе и этим труженикам, будущим виноградарям. Ты поверил нам и дал дорогу этой дружбе. Долгой жизни, полной радости и побед, тебе и всем сеятелям добра на земле!

Все, взволнованные, выпили этот тост.

Потом ирмисцы запели. Что они пели — не знаю, но мне казалось, что я нахожусь в Афинах на пасхальной литургии и звучит мощный орган, звуки которого несут тебя к небесам...

И тогда я сказал себе: «Теперь я знаю, что Гонджаура — это винсградник!..»

На этом записи кончались и следовало послесловие:

«Дорогая моя заочная друг Хатула! То што ви прочитали — эта я так думал и писал раньше. Сичас очень прошу прощения, я зовсем не думаю так, сичас я знаю, что Ваш супруг есть натуральная, бездушная камень. Он очень спакойна говорит: «Подожди, Коста, подожди!» Он есть камень и потому не понимает, если Додашвили поедут на Ирмиси, я как могу остаться здесь один? Умирить для меня зовсем не страшна, но я не могу потерять маленькая Нато и большая Наталиа и очень шалюн Паата-Зурико и их мама Ола. Человек когда есть один, эта страшна, я очень-очень боюсь этово. А он не хочет, штоба у Коста был большая семя, не может понимать, што я зовсем не виноват, если один человек из Греции, другой человек из Грузия нашли друг друга на далекая точка наша планета, штоба остальная жизнь была вместе. Он ничего эта не понимает, говорит, «подожди», он есть проста-напроста халодная камень, и очень-очень прошу Вас, сообщите Ваш супруг моя мнения.

Многа привет Вам и Ваш маленьки джентельмен «Сандра от Ваш навсегда слуга К. Илетакса».

Хатула, снова перечитав записи, с каким-то недоумением огляделась вокруг. О, как она далека от той жизни, к которой, читая записи, приобщалась всем существом! Она отложила исписанные листки и уставилась на огонь в очаге. «И вправду говорят, что счастье и несчастье ходят рядом, — думала она. — Жестоко наказанная за неизвестно какую провинность пропавшего без вести мужа, Ола вдали от родной земли встретила человека, тоже оторванного от родной земли. Этот чудесный человек, исколесивший полмира, очутился в Казахстане и полюбил ее... Алекси, неужели ты и вправду не чувствуешь, как Илетакса боится одиночества? Не обрекай его на одиночество. Это страшнее смерти. Мне довелось видеть одинокого человека...»

Перед глазами Хатулы возникло безжизненное лицо Рамаза Мелитаури. Будто сквозной ветер ворвал-

ся в комнату. Хатула укуталась шалью, подкинула дров в очаг.

«Мой чудесный заочный друг, я прошу тебя, не впускай в свою душу одиночество. Не впускай, если даже у твоего очага никогда не будет сидеть любимая тобой женщина, все равно, не впускай! Пусть хранит тебя судьба от этого... А знаешь ли ты, что Алекси никогда не будет страдать от одиночества? Оторванный от родного края, лишенный человеческих прав, он смог победить самум в пустыне, выстроить в безлюдной степи поселок Цветочный, дать людям землю, воду, свет... Все это ты видел, Коста, и ты прекрасно пишешь в своих записках об этом. Временами ты очень близок к объяснению, что такое Гонджаура, но ты не знаешь самого главного: не встретить он там добрых людей, собирай он с утра до ночи хлопок, приведись ему день и ночь видеть только этого коменданта — он все равно не был бы одиноким. Поселок возник бы в его душе, он был бы населен людьми, у которых была бы земля, вода, свет... И привилась бы лоза, и собрали бы урожай, и напоил бы он людей соком солнечных гроздьев... Потому что в нем непреодолимо стремление к осуществлению своей мечты, мечта живет в нем, как живое существо, и будет жить, пока он сам будет жить, дышать, думать. Поэтому он не может быть одиноким, и... поэтому так сильна моя печаль... Друг мой, не презирайте, не осуждайте меня — я хочу, чтобы Алекси, не видя меня рядом с собой, почувствовал пустоту и одиночество, я хочу, чтобы он изнемог от этого одиночества и позвал меня!.. Но он приказывает мне оставаться здесь, и я подчиняюсь его воле...»

Почему я не могу разделить участь Алекси, почему? Сколько еще времени тщетно ждать мне ответа на свои бесчисленные заявления? Я все пишу и пишу, будто не знаю, что ответа не будет. К чему этот самообман, разве от этого легче? Кто может отменить зло, содеянное очкастым дьяволом, извергом рода человеческого? Кто посмеет поднять шум из-за черного дела, состряпанного сатанинским его талантом, кто? Я не могу дольше выносить это тщетное ожидание. Я не могу сидеть здесь и ждать писем из Казахстана. Я хочу быть там, с ними, хочу жить в Цветочном, да, да!..»

Она встала и так стремительно вошла в комнату Сандра, будто решила сейчас же разбудить его и собраться в путь.

Она остановилась у кровати спокойно спящего сына. Из-под подушки виден дневник Нато. Сандра тоскует по отцу, Нато — по Ирмиси. Они обмениваются дневниками, делятся друг с другом своей тоской... Спит Сандра. Как удивительно он повторяет характер и повадки Алекси. Упорный. Настойчивый. Фантазер. Он так тоскует по отцу, что даже во сне не разглаживается тоненькая складка, безвременно залегшая меж бровями. А попробуй, заговори о поездке в Казахстан! Сразу вспыхнет: «Что ты, ма-ам, ты хочешь, чтобы нам было хорошо, а виноградники? Что папа скажет, если мы хоть на один день оставим их без присмотра?!»

Хатула невольно улыбнулась и медленно вышла из комнаты.

Глава четвертая

Как только снег начинает оттаивать, дни на селе сменяются днями, столь не похожими один на другой, что кажется, будто шествует караван, нагруженный красочными тюками.

Так бывало всегда. Но в этом году первый месяц весны был месяцем смерти Сталина и над страной нависла такая скорбь, что казалось: и караван дней сбился с пути.

— Что теперь будет? — в смятении спрашивали друг друга знакомые и незнакомые люди, расхватывали газеты, прикинув к репродукторам, затаив дыхание, слушали дикторов, рассказывающих о том, что происходит в Колонном зале Москвы, где был установлен гроб.

— Что же будет дальше? — вопрошали люди в ожидании какого-то чуда. — Что дальше?

Отгремели прощальные залпы. Затихли траурные гудки. Замерли речи. По-прежнему светило солнце.

Не стало одного, пришел другой. Так бывает всегда.

Кто продолжал оплакивать того, которого не стало,

а кто торжественно встречал того, который пришел вместо него. Обычное дело...

Кто и не горевал, и не торжествовал, и не произносил ни траурных, ни торжественных речей, помалкивал себе. Это тоже ведь обычно?!

И караван дней продолжил свое шествие. Весне не было никакого дела до неумных страстей человеческих, она привычно требовала дань. И люди везде, особенно на селе, знающие, что весне надо платить дань вовремя и сполна, кинулись наверстывать упущенное время. Это тоже было в порядке вещей. Но вот...

— Слушай, Мелитаури! — начальник Дарианского районного отделения милиции Сардион Магалашвили чокнулся с Рамазом граненым чайным стаканом. — Ты уж чересчур убиваешься, так чахотку нажить можно!

— Есть причина убиваться, — взмахом руки Рамаз пытается отстранить неотступно преследующие его лица Сандры и Хатулы.

— Клянусь совестью, ты допускаешь непростительную политическую ошибку! Он не умер! Он бессмертен! — Сардион ударил себя в грудь кулаком и, подойдя к двери, свистнул: — Эй, друг!

Дежурный милиционер, пожилой, лысоватый человек с огромной бородавкой на подбородке. Он знает, что означает свист начальника, и мгновенно появляется в кабинете с бутылками вина, ловко зажатými между пальцами обеих рук. Умеючи заменив пустые бутылки полными, обновив закуску на письменном столе, покрытом мартовскими газетами, он осушил предложенный ему стакан и вышел, плотно притворив за собой дверь.

Магалашвили задался целью напоить Рамаза, но сам опьянел раньше него.

А Мелитаури хочет опьянеть, он даже по второму разу пьет очередной тост, но вино не берет его, не облегчает грудь, словно тисками, сжатую тоской. Наконец ему опротивели пьяные слезы и сопение Сардиона, его непристойная болтовня, прерывающаяся хныканьем по поводу каких-то бумаг. Он встал.

— Стой! Стой, куда ты? Не пущу! — вцепился в

него Сардион, насильно усадил на стул и снова наполнил стаканы.

— Попробуй только не выпить! Пьем дождна за новое руководство нашей страны! И заодно... — Икнув, он, тыкая пальцем в портрет, висевший на стене, договорил: — За нашего дорогого друга, за гордость грузинского народа, которого враги и завистники между собой звали «очкастым дьяволом»!

Он залпом осушил стакан и, взглянув на искаженное лицо Мелитаури, сказал:

— Вот, ты и готов, напоил я тебя... Нужно было, вот и напоил...

Он встал, ошалело оглядел комнату, пытаюсь вспомнить что к чему. И вдруг вспомнил. Пошатываясь, подошел к сейфу, покопался в нем и извлек кипу небольших листков, перехваченных резинкой.

— Эти бумажки в чухотку меня вгонят, клянусь богом! — заикаясь, захныкал он. — Валяются здесь, видишь, пожелтели?! Скажи, на кой они мне, а? Как открою сейф, так душа в пятки.

Мелитаури узнал листки-бланки. Такие бланки-извещения о гибели солдат приходили с фронта. У него потемнело в глазах, сжав кулаки, он взял себя в руки и наполнил вином стакан Сардиона.

— Что ж ты, такой тост сказал, а не выпил?!

— А ты? — выпучил глаза Сардион.

— А я, пока ты там в сейфе копался, дважды осушил стакан. Да ладно, теперь давай выпьем за здоровье нашего любимого, уважаемого Гулвардишвили! — Надеюсь узнать побольше о преступлении Магалашвили, он нервно крикнул: — Пей, говорю!

— Я выпью за то, чтобы твой Прокоша поскорее сдох! — всхлипнул Сардион. — Это он, гад, виноват. Да, да, хоть сто раз выпью за то, чтобы он поскорее сдох! Можешь насплетничать ему, плевать мне. Если мне припомнят это дело, и ему, сукину сыну, несдобровать!

— Пей, пей, ладно уж, выпей за то, чтобы он сдох, только я не понимаю, при чем тут какие-то бумажки?

Сардион послушно опорожнил стакан, хлопнул им по столу и опять захныкал:

— С сорок первого года шли эти бумажки. Прямо

на мой адрес шли. Тогда я военкомом был... А этот гад говорит: «Ох, как их много, в деревнях паника подымется, и государству большой ущерб, столько пенсий придется назначать. Спрячь, говорит, у себя, потом видно будет»... А потом я ключ от этого проклятого сейфа потерял, потом уйма всяких забот-хлопот... ну и забыл я... И гад этот тоже не напоминал...

Мелитаури судорожно глотнул воздух и, не отрывая взгляда от кипы, перехваченной резинкой, резко отодвинулся от Сардиона.

— А куда же потом? Поздно ведь было раздавать... — продолжал Магалашвили, всхлипывая.

— А родные? Они ведь все еще ждут вестей!

— Родные!.. — обиженно оттопырил Магалашвили мясистую синюшную губу. — Родные в Казахстане... Эй, перепил ты, стаканы начал ломать!

— Это я случайно, плюнь на это, лучше скажика, сейчас почему ты вспомнил про эти бумаги?

— Рафо, Рафощка Брегадзе, дерьмо такое, пристаёт, видимо, что-то пронюхал про эти похоронки. Думает, я дурак, взял да выложил ему. Хочет спихнуть меня, свояка на мое место пристроить.

Мелитаури прикрыл глаза, привалился к спинке стула. «Какие же они негодяи! Предали погибших на фронте. Истязают их близких. Почему? Кто дает такие неограниченные возможности этим подонкам? Как трещит голова... Не открывать бы глаз, не видеть бы эту мерзопакостную рожу...»

— Тебе легко жить, Мелитаури! — раздался охрипший голос Сардиона. — Тебе море по колено. У тебя ни кола, ни двора, ни родства, ни потомства. Тебя никто не беспокоит, а мне как быть? Со всех сторон тянут. Знаешь, скольких надо насытить, уважить, одарить? Все в руки смотрят... Подох бы старикашка-почтальон, и уничтожил бы я эти бумажки, кому они сейчас нужны? Но он мне лично вручил, он знает о них...

«Давно бы он их уничтожил, но о них знает Гулвардишвили, а теперь еще Брегадзе. Этим подонкам извещения нужны, как пистолеты, направленные друг на друга. Но мне-то зачем поведал Магалашвили свою отвратительную тайну? Ведь он спяна решился на то, о чем, по-видимому, думал трезвым...»

— Черт знает, за что тебя люди любят и здесь, и в

Тбилиси, — хныкал Магалашвили, — всем ты дерзишь, и все тебе прощают, кругом у тебя полным-полно друзей. Помоги, придумай, как мне быть, как избавиться от этих проклятых бумажек, будь другом, помоги, век твоим должником буду. Рафо с Прокошкой погубят меня...

— А ну, хватит болтать, заткнись! Я уже нашел для тебя выход, простой, прекрасный выход. Дай мне эти бумажки...

— Да-ать? Тебе?..

— Да, мне. На них будет проставлен штемпель, свеженький почтовый штемпель, прямо сегодняшним числом, понимаешь? Будто в Дариани их сегодня получили, а в чьем сейфе они желтели, пусть доискиваются!

Магалашвили так долго сидел молча, понурился головой, что Рамаз не выдержал, пнул его в бок.

— А-а, постой... — поднял Магалашвили голову и мутными глазами уставился на Рамаза, — а кто штемпель поставит, а?

«Ишь, скотина, соображает еще», — зло усмехнулся Рамаз и наполнил стаканы вином.

— Давай, пей за успех! Во-от, молодец. Нам нужно проставить штемпель, так? Тебе какое дело, кто проставит? Я сам проставлю, собственноручно. Чего зенки выпучил? На почте девушка одна влюблена в меня, ясно тебе?

Магалашвили промычал что-то непонятное. Рамаз встал.

— А ну тебя к черту! Я простой план придумал, а ты еще ломаешься. Ты пьян в дымину. Проспись и тогда поговорим, завтра, послезавтра. Столько лет пролежали, пусть полежат еще, мне-то что?.. Пошел я!..

— Стой, куда ты? — в отчаянии заорал Сардион, не в состоянии поднять со стула свое отяжелевшее, грузное тело. — Скорый ты какой, не дашь подумать! Поставишь штемпель, а что потом?

— Республиканский военком мне друг. Не откажет, от себя пошлет эти бумажки в Казахстан, и дело с концом. Останутся твои Рафошка с Прокошкой с носом!

— А... А шума не будет?

— Кто будет шуметь? Им лишь бы вернуться, тише воды, ниже травы будут...

— А... А не может случиться?..

Мелитаури стало невмоготу, он не дал договорить Сардиону.

— Сиди и гадай, что может случиться! Да и вообще, иди ты со своими бумажками... — Рамаз разжал побелевший кулак и решительно взялся за ручку двери.

— Стой-ой! — завопил Сардион. — На! Держи! Ты свой парень, не подведешь...

И то ли от сильного опьянения, то ли увидев пачку извещений в чужих руках, он вдруг утратил последние признаки здравого смысла, мутными глазами уставился на пустую бутылку и засопел.

Мелитаури положил извещения во внутренний карман кителя, неторопливо вышел из кабинета, медленно прошагал мимо вскочившего на ноги милиционера и вышел на улицу.

Наутро он уже был в Тбилиси и разыскивал военкома республики.

Но разыскать в Тбилиси в те дни ответственное лицо было не так-то просто. Как и в прошлый свой приезд в Тбилиси, он будто по наитию угодил в бурлящий поток событий — как и в прошлый раз, на внеочередном, экстренном пленуме меняли руководителя республики...

К военкому он попал на следующее утро. Внимательно и с нарастающим беспокойством выслушав его, военком понял: Мелитаури не остановить. всплыви история с утаенными извещениями, может, и ему не сносить головы, не говоря уж о потерянной должности. Пусть даже не было в этом гнусном деле его непосредственной вины, но ведь он всегда оставлял без внимания жалобы на Магалашвили, верил, когда тот утверждал, что в Дариани полным-полно интриганов...

Поразмыслив о всех возможных последствиях, он тут же, при Мелитаури, составил письмо, дипломатично поясняющее «досадное недоразумение» с повестками, и вместе с извещениями вложил в секретный пакет.

Опасаясь всяких «досадных недоразумений», Рамаз настоял на своем, с соблюдением всех необходимых формальностей получил пакет, сам отослал его в Казахстан и в тот же день уехал из города. Он всю дорогу удивлялся себе, что до сих пор не замечал наступления весны...



А в Цветочном весна входила в пору зрелости.

На шести гектарах земли ровными рядами поднялась лоза. В степи, охваченной буйством красок, нежная зелень лозы, как оазис, даровала успокоение душе и глазам.

Затерянный в бесконечности поселок, по словам Коста Илетакса, стал похож на произведение гениального импрессиониста. Кровли глинобитных домиков атели от маков, и со стен канделябрами свисали переливающиеся всеми цветами радуги тюльпаны.

Бог весть откуда налетевшие бесчисленные жаворонки то, взвиваясь к солнцу, терялись в голубизне неба, то, стремительно возвращаясь к земле, припадали к полевым цветам, лозе, тонкоствололым деревьям, и казалось, что и цветущая степь, и лоза, и деревья подпевали маленьким серо-черным птахам.

К вечерним работам люди здесь приступали раньше, чем приступали они в Ирмиси, потому что здешнее солнце начинало припекать раньше, чем солнце Ирмиси. Дружно принявшаяся лоза требовала особой заботы.

— И чего создатель не дает тебе покоя, и ты вечно выдумываешь излишние заботы и хлопоты! — с упреком сказал Алекси окапывающий лозу Мосэ Бежиашвили, отец пятерых малолетних детей. Мосэ со своими домочадцами был выслан сюда из-за брата, пропавшего в войну без вести. Измученный и озлобленный, он проклинал себя за то, что, любя брата, не отделился от него, и теперь, как член его семьи, нес наказание за какие-то его грехи. Свою злость он чаще всего срывал на снохе, хотя Алекси поселил их раздельно.

— Мосэ, ты, кажется, что-то сказал, я не расслышал, — разогнув спину и опершись на лопату, переспросил Алекси.

— Из-за лозы, говорю, голову тебе снесли, а ты никак не уймешься, не отступишься от своего, — пробурчал Мосэ, не переставая тщательно окапывать молодые стволы лоз.

— Да-а, видишь, не могу я...

— Пригнали нас сюда разводить хлопок, и хватит с нас. Не виноградники, а золу горячую в глаза бы мучителям нашим, покарай их господь-бог!

— Согласен, — улыбнулся Алекси, — я за то, чтобы господь-бог покарал твоих мучителей, но причем тут казахи и эта благодатная земля?

— Причем, причем! Весь свет притом, да, да! Нету в мире ни справедливости, ни правосудия!

— Правильно говорит Мосэ, — сказал немногословный Цицero.

— Еще бы! — стукнул лопатой об землю Мосэ. — Если бы из сотен наших жалоб хоть одна дошла бы до места, может, и рассудили бы нас, а то...

— Правосудие... Справедливость... — задумчиво проговорил низенький хромой Абриа. У него за границей объявились какие-то однофамильцы, будь они неладны, приспичило им родственников отыскивать, закидали письмами. Из-за них, окаянных, Абриа и пострадал. Он глубоко вздохнул и так же задумчиво добавил: — А может, до жалоб честных людей у них руки пока не дошли...

— Балда ты! Руки не дошли! — вскричал Мосэ. — Пригнали нас сюда и забыли, вот что! Сгноят они нас здесь!

— Дядя Мосико, — с притворной нежностью обратился к разбушевававшемуся Мосэ молодой, статный Бидзина Авалишвили. Он мальчишкой удрал на фронт, вернулся с боевыми медалями и был выслан из-за отца, который тоже воевал, но пропал без вести. — Дядя Мосико, чем тебе здесь плохо? Скоро станешь первым дегустатором казахстанского вина собственного разлива, разве это не приятно?

— Мне, кроме могилы, ничего уже не надо!

— Да-а? Так значит, твои детки просто так вылупляются? — расхохотался Бидзина.

Жена Мосэ была на сносях. При последних словах Бидзины многие не сдержали смеха.

— Укоротил бы ты свой поганый язык, молоко-сос, — пробурчал сконфуженный Мосэ.

— Мосэ, поедешь на днях с нами в Абай-Базар? — вмешался в их перепалку Тенго. — Тасанбаев нам наряд выхлопотал, мы с Леваном за проволокой едем, поможешь нам.

— На кой черт вам проволока?! Разве что таких вот бесстыдных сопляков на ней вешать! — с опозданием рассвирепел Мосэ.

В Абай-Базар за проволокой поехали Тенго с Леваном.

А дни бежали, и события сменяли друг друга.

* * *

Приумолкла молодая зеленая акация. На рассвете пришел к ней человек, который так баловал ее вниманием и заботой, приучил ее к ласковым словам, пришел хмурый и даже не взглянул на нее. Сдвинув брови, стоит он под деревом, думая о чем-то своем, сокровенном.

«Олег, и в этот раз в День Победы мы встречаемся с тобой здесь, в Цветочном. Без Сталина встречаем мы 9-ое Мая. Нет его... Я так и не привык к этой мысли. Я все ждал и надеялся, что вот-вот услышу его голос, как в том, 1941 году... Помнишь: «Дорогие соотечественники...» Я надеялся, что вслед за этим обращением услышу его слова, разъясняющие то, что, может, по нашему неразумению кажется нам неправильным, недопустимым... Но он умер, так ничего и не сказав о самом главном и важном, и я по-прежнему ничего не понимаю. Мы с тобой знали и знаем, что мы выиграли ту страшную войну с его именем на устах. Мне все чаще представляется могучий дуб из нашей народной песни, вокруг которого вьется мошкара... Откуда эта боль в груди? Вот и сейчас... Предательская боль налетает внезапно, надеюсь застать меня врасплох, а я всегда встречаю ее во всеоружии!.. Так уж повелось — мне нельзя радоваться маю, нельзя читать дневник Сандрика и письма Хатулы — нельзя, если у меня под рукой нет лекарства Коста Илетакса.

О, Олег, если бы я знал, где суждено нам встретиться в следующий день Победы! Здесь же?.. Если здесь, то тогда Сандра и Хатула будут с нами. Им уже не сидится в Ирмиси. Мои просьбы, приказания бессильны. Пусть, пусть приедут. Может, я и вправду лишний в родном краю?.. Будем жить здесь. Ну и что ж? Разве мы не можем быть счастливы здесь, в Цветочном, а, как ты думаешь, Олег?..»

И, конечно, Алекси не предполагал, что вскоре ему вновь придется искать возле этой маленькой акации убежище для своих взбунтовавшихся чувств.

В тот ясный, теплый и спокойный день люди,

работавшие на хлопковых полях, взволнованные, возбужденные примчались в Цветочный. Все они кричали, перебивая друг друга:

— Амнистия!

— Эй, люди, амнистия нам вышла! Люди, слышите? Амнистия!

— Отпускают нас домой! Амнистия!

— Сегодня же можно ехать! Собирайтесь!

— Едем! Дождались! Едем домой!

«Амнистия?» — резко отдалось это слово в сознании Алекси. Садовые ножницы вдруг стали непосильно тяжелыми. Он медленно ушел с виноградника и сам не заметил, как оказался возле акации. Он присел у арыка, по которому с глухим бормотанием неслась голубоватая плотная вода Сырдарьи.

«Амнистия... Прощение. Чего? Какой вины?..» То ли от слова «амнистия», то ли от сладковатого дурмана акации или глухого бормотания воды — у него вдруг разболелась голова. О других, более обширных ранах он и не помнит, а этот небольшой рубец у виска так напрягается, так ноет, что череп раскалывается... Амнистия. Опять милостыня? Нет. Нет и нет!.. Но там Сандра и Хатула. Решалась их судьба. Но все равно, не хочет он прощения несуществующей вины. Не примет он милостыни, нет!

Горечь, испытанная им в последнюю ночь в Ирмиси, горечь, которая, словно слепого, гнала его в пустыню, сейчас с новой силой сдавила сердце. Он слабеющей рукой нащупал в кармане склянку, накапал на язык прозрачную жидкость.

«Просто чудо твоё лекарство, Коста Илетакса! Ты и сам чудо, друг мой, чудесный исцелитель и тела и души. А Гонджаура смалодушничал. Подумал, что настал последний миг его жизни. От страха забыл он, что этот последний миг далек, очень далек, до него четырнадцать суток пути и амнистия ни на вершок не сокращает этот путь. Чего ты заторопился? Разве насытились твои жадные глаза красотой жизни? Разве иссякло твоё терпение? Посмотри, как прекрасна степь. Вдохни глубже этот прозрачный живительный воздух!..»

Он поднял голову и увидел, что к акации идут люди. Идут взрослые, старые, дети. Кажется, весь по-

селок Цветочный надвигается на акацию, и впереди всех Мосэ — не идет, а бежит.

— Ты чего сидишь здесь? — кричит Мосэ издали. — Нашел время нежиться на солнышке! Надо поговорить, решить, сегодня двинемся в путь или завтра с рассветом. Надо собираться!

Алекси не привык встречать людей сидя, но тот миг, показавшийся ему последним, только-только отошел, и у него пока еще не было сил оторваться от ствола акации. И говорить было еще трудно.

«О, какие у них лица, какими удивительными глазами они смотрят на меня. Ты называй это прощением, милостыней, чем хочешь, а для них амнистия — это Ирмиси. Это конец разъедающей душу тоске. Это осуществление их мечты. Что их может удержать? И почему их удерживать? Может, это и есть конец непредъявленного нам обвинения, конец нашего «дела», и другого конца не будет? Может, единственно правильное решение — ехать? Кто имеет право отравлять им радость какими-то, может, и абсурдными доводами? Нет, он ничего им не скажет, он ничего не может им посоветовать. Да, он не хочет, чтобы дорогие сердцу эти добрые, честные люди превратились в толпу, со слепой благодарностью принявшую прощение, но советовать отказаться от этого блага он не имеет права, ибо заменить им это благо ему нечем. Пусть решают сами. Пусть они поступают так, как считают нужным...»

— Ты онемел, что ли? Мы к тебе пришли, а не к этому дереву! — снова закричал Мосэ, очевидно, от волнения не чувствуя своей грубости.

— Я не знаю, что вам посоветовать, — тихо сказал Алекси. Неожиданно вспыхнувшая в нем ярость придала ему сил. — Я амнистию не принимаю! — резко отсек он и встал.

— Ты что? Ты с ума сошел? — оторопело произнес Мосэ.

— Да, может быть я сошел с ума, но вы спрашиваете, и я не могу не сказать вам то, что думаю. Амнистия вору прощает воровство, убийце — убийство, разбойнику — грабеж, расхитителю — хищение народного добра, а нам, нам она что прощает?

— Именно потому, что мы не виновны, мы боль-

ше других заслуживаем амнистии, — сказал Цицерио.
— Раз принимаешь прощение, значит, признаешь себя виновным в чем-то! — резко проговорил Алексис.
— Чего мы гордостью своей добьемся? — возразил хромой Абриа.

— А чего нам еще ждать? На что мы можем надеяться? — зашумели люди.

— Не знаю. Может, вы правы. Может, действительно, нечего ждать. Но я подожду. Если ничего другого не дождусь, стало быть, накажу сам себя.

— Люди, слышите этого умника? — крикнул разъяренный Мосэ. — Я, мол, так желаю, а вы хоть головой об стенку!

— Да погоди ты шуметь! — рассердилась на него Наталиа и подошла к Алексису ближе. — Сказал бы ты нам все, как есть, может, и мы подумаем, поразмыслим.

— Что еще я могу сказать, Наталиа? По-моему, амнистия не снимает с человека клеймо виновности. По самую смерть будешь себя чувствовать обязанным кому-то за то, что смилостивились, простили. Всюду, где спросят, нужно будет сказаться и записать, что по амнистии получил право вернуться домой, и всюду у всех будешь вызывать сомнение в своей честности. Чуть что, каждый подлец может попрекнуть тебя этим «прощением». Разве перевелась дрянь, подобная Рафиэлу—Джибо—Гулварди?! Даже вот этих малышей могут попрекнуть, отравить им душу...

Тишину нарушала лишь глухо бубнившая в арке вода Сырдарьи.

И вдруг Дали крикнула:

— Тенго и Леван приехали!

Все еще находясь под впечатлением слов Алексиса, люди в напряженном молчании все как один уставились на Тенго и Левана, прибывших из Абай-Базара с подводой, груженной проволокой.

Тенго и Леван, хмурые, осунувшиеся, усталые, несмотря приблизились к ним.

— Вы что воды в рот набрали! Что в городе происходит, что там слышно?

Тенго как-то странно взглянул на Бидзину.

— Что слышно?! Да вы и сами уже знаете! Всех осужденных пускают на волю, уезжают они...

— А я что говорил?! И нам надо немедленно соби- раться! — всполошился Мосэ.

— Собирайтесь! Ишь ты!.. Скорый какой!.. А не спросишь, кто уезжает и как уезжает!

— Так говорите же, что вы за душу тянете?! — зашумели люди.

— В этих краях... оказывается, есть медные рудники... — с трудом выцеживал слова Тенго. — Воры, бандиты, разбойники, убийцы со всех концов нашей страны — там, в трудовых исправительных колониях. Так вот, они первыми и узнали об амнистии, первыми и бросились к уходящим эшелонам...

При упоминании эшелона многие понурили головы.

— Ну уж скажешь! Раз отпускают, как хотим, так и уедем, не обязательно эшелонам, — без прежнего пыла произнес Мосэ.

— Спросят тебя, амнистированного, как же... «Дорогой товарищ Мосэ, может, вы в мягком купе изволите ехать?» — с издевкой сказал ему Тенго, вытирая лицо платком. — У эшелонов такое творится, невозможно описать. Напирают бандюги, те самые, что на роже написано — нет в нем человека, не моргнув глазом, пырнет ножом даже дитё малое. На иных и смотреть страшно, сразу видно, только горе от них людям. Черт знает, кому взбрело в голову отпускать таких на волю!

— Высылают — не нравится, отпускают на волю — тоже не нравится, — пробормотал Цицero.

— Справедливости во всем этом не видать, потому и не нравится, — отрезал хромой Абриа.

— Вы что, очумели, что ли? Помалкивайте, ради бога! — взмолились женщины, испуганно оглядываясь по сторонам.

— Помалкивай не помалкивай — один черт, дальше Цветочного нас некуда посылать! — усмехнулся Бидзина.

— А ты, Леван, чего молчишь? Тенго не преувеличивает, а? — подскочил Мосэ к младшему Рчеулишвили.

— Куда уж преувеличивать, дядя Мосэ, там настоящее светопреставление, — не сразу ответил Леван.

— Может, разъедутся те, тогда нам легче будет?!
— пробормотал кто-то.

— А если тем временем и амнистия кончится, тогда как? Куда потом денешься? — огрызнулся Мосэ.

— Никуда не денешься, здесь и проторчишь! — взорвался вдруг Тенго.

Многие, да и сам Мосэ, поняли, что что-то чересчур серьезное вывело из равновесия всегда спокойного и вежливого, почтительного в обращении к старшим Тенго. И как бы извиняясь за друга, Леван заговорил:

— У разъезда, куда эшелоны подают, мы мухианца встретили, Михо Азарашвили. Он нас потащил к себе. Далеко это, мы на подводе поехали. И увидели, как они живут... Так вот, мы живем по-княжески. Нет, вы не можете представить себе, как им тяжело живется... Невозможно описать... Но даже они не торопятся воспользоваться амнистией. Говорят, не про нас это дело. Говорят, слух прошел, да и на днях Нико Хелашвили им написал, вроде про нас особое, мол, будет указание...

— Нашелся еще один умник! — в отчаянии всплеснул руками Мосэ и снова подскочил к Алекси. — Значит, сидеть тут и всякие слухи да сплетни слушать? Это ты, ты сбил с панталыку людей, каждое твое слово действует на них! Чего молчите? А если объявят, что кончилась амнистия, что тогда? — чуть не расплакался Мосэ.

— Да, Алекси, — вспомнил вдруг Тенго, — знаешь, кого мы встретили у того адского разъезда? Натадзарского Габо Нацвлишвили. Я бы его ни за что не узнал, так он переменялся. Сказал, знает о нас, хлопчет о разрешении приехать к нам.

«Смотри, пожалуйста, — невесело усмехнулся Алекси в душе, — оказывается, надо было нас выслать в Казахстан, чтобы наконец-то встретиться с ним...»

— Слушай! — опять налетел на него Мосэ. — Если кончится амнистия, что тогда? Скажи, что тогда будет, а?

— Не знаю, Мосэ, — устало произнес Алекси. — Может, скажут: «Если уж прощать, то вы нас простите, зря вас мучили».

— О-ох, люди, слышите? Видите, что с ним дела-

ется?! — горестно запричитал Мосэ. — Он совсем уже в небесах витает!..

— Не обижайся на меня, брат, — мягко улыбнулся ему Алекси. — Если мы не дождемся справедливости, я до самой смерти останусь здесь. А как тебе поступить, решай сам!..

И Алекси медленно пошел к поселку.

* * *

Из Цветочного никто не уехал. Всеобщее возбуждение сменилось всеобщей подавленностью. А спустя несколько дней и в самом деле не стали отпускать по амнистии, объявив, что дела будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Люди стали сторониться друг друга, в одиночку отправлялись на хлопковые плантации, чаще оставались там ночевать. А в свободные дни копались на своих участках. Даже детей не было видно на улице. Гнетущая тишина сгустилась над Цветочным.

У Алекси изо дня в день росло чувство вины перед земляками. Он тоже стал избегать своих, дневал и ночевал на виноградниках с казаками, помогал натягивать проволоку, подвязывать лозу, пояснял им процессы ухода за лозой и значение последовательности этих процессов. Единственной отрадой для него теперь было наблюдать, с каким усердием относились казахи к новому для них делу, как они быстро познавали азы виноградарства.

Часто он приходил к своей акации и мысленно вел длинный разговор: «Наверное, я часто ошибаюсь, поступаю неправильно, что-то делаю не так, как надо было бы, но ты знаешь, Олег, я никогда ничего не делал против своей совести. А сейчас сомнения все сильнее терзают меня. Может, в этот раз не надо было слушать свою совесть? Может, надо было воспользоваться амнистией? А вдруг вовсе не станут разбирать дело каждого в отдельности? Что тогда? На что я обрек людей? Всю жизнь они будут считать, что, не будь меня, они успели бы уехать. Сердятся они на меня, обижены, но если бы знали, что делается у меня на душе, знали бы, что я согласен принять самую лютую смерть, лишь бы еще раз увидеть Ирмиси... Но разве они не знают? Знают. И не на меня они сердятся, Олег, просто труд-

но им выносить разлуку с родным краем, тоска сдает их, и каждый день неизвестности изводит их... Неизвестность невыносима и для меня, но мне легче, чем им, не правда ли?.. Помнишь наш уговор? Если в следующий день 9-го Мая мы с тобой встретимся здесь, то тогда и Сандра с Хатулой будут с нами. Они тоже поселятся в Цветочном, и, может, это несколько примирит ирмисцев со мной...»

Притих, приуныл поселок. Потянулись тоскливые, пронизанные угрюмым молчанием дни. В один из таких дней в поселок прибыл Габо Нацвлишвили. Прибыл со всей семьей, с женой, двумя детьми и пожитками в легких узлах. Он сказал, что, прослышав про поселок Цветочный, стал добиваться разрешения переселиться к ирмисцам. Ирмисцы глазам своим не верили. Тот ли это Габо? Неужто тот самый Габо, прозванный односельчанами «никудышным», смог добиться своего? Вопросы так и посыпались на него, но Габо не стал распространяться, увидев Алекси, торопливо пошел навстречу.

— Поговорим, Алекси. Если найдешь, что достоин, подашь мне руку, — взволнованно сказал Габо, занося правую руку за спину и пристально глядя Алекси в глаза.

— Что ж, пойдем, пройдемся, — предложил Алекси, не менее взволнованный встречей с человеком, которого он ждал все годы с того самого рассвета в на-тадзарском саду.

— Мне недолго рассказывать, — сказал Габо, — сам все поймешь... Только сразу должен огорошить тебя: я рад, что мы здесь, в Казахстане. И Циала очень рада. Да, да, не удивляйся, мы просто счастливы!

Чувствует Алекси, что человек говорит правду. Это уже не тот смертельно усталый путник, каким он был в то далекое утро и каким запомнился Алекси. Лицо у него спокойное, открытое, и выглядит он мужественным, сильным.

— В тот день, когда мы с Циалой расписались, арестовали ее родителей, — справившись с волнением, заговорил Габо. — И приходил за ними Рафиэл Брегадзе, тогда он в Тбилиси «работал». Да, да, тот самый знакомый тебе Брегадзе. Тебе уже многое стало понятно, не так ли? Как только их взяли, — продол-

жил Габо свой рассказ, — я тут же увез Циалу в Натадзари. Начал я в колхозе агротехником работать. Вскоре односельчане избрали меня председателем колхоза. Думал, горы сверну, добьюсь для натадзарцев новой, счастливой жизни. И так закипела у нас работа, что памяти о том радостном, но, увы, чересчур коротком периоде хватило моим натадзарцам на последующие долгие годы невзгод... Вызывают меня однажды в Дариани. Кто вызывает? Рафизл Брегадзе! В наш район его назначили. Говорит он мне: «Знаешь, что тебе будет за то, что скрываешь правду о родителях жены? Почему ты, когда избирали тебя председателем, не довел до их сведения, что родители твоей жены изменники родины?..» Что я мог ему ответить? Время было такое, если не спрашивают, зачем об этом кричать? Боялся — отнимут у меня Циалу... Сижу перед ним, перед иезуитом этим, онемел я, язык к гортани прилип. Он тоже молчит. «Ну, думаю, все, не видать мне уж Натадзари». А он, видимо, насладившись моим мучением, начал с улыбкой говорить о каких-то пустяках. А потом отпустил. Просто поговорил и отпустил! Циала оказалась умнее меня. Говорит, не зря он напомнил о себе, погубит он нас. И она оказалась права. Начал он гнусную игру. Брать меня не берет, молчит, а за молчание кровь высасывает из меня и из Натадзари... Поэтому я уже не хотел быть хорошим председателем. Не хотел, чтобы Натадзари окреп и разбогател, понимаешь? А перед народом совестно, и за Циалу я беспокоюсь, она из-за страха за меня все ночи не спит. Не было нам жизни. Куда бы я ни обратился, чтобы развязаться с Натадзари, всюду он появляется. Держит меня в колхозе, как собаку на привязи, и сам, как собака, каждый мой шаг сторожит. И с глазу на глаз говорит: «Не вздумай сбежать, розыск по всей стране учиню, тогда тебе каюк!» Гулварди давно учуял брегадзевскую авантюру, меня на порог к себе не пускает. Разве он из-за меня с Брегадзе неприятности будет наживать?! Не знаю, сколько длилась бы эта пытка, не захоти он ранних весенних яблок... Вот тогда ты и накрыл меня в саду... Не представляешь, чем стала для меня эта встреча. Положил за пазуху продиктованное тобой заявление и поехал в Тбилиси... Походил я с неделю в ЧК, наконец добился — они мне на

понедельник прием назначили, а в воскресенье — войну объявили!.. Страшно признаться, но, Алекси, представь себе, до чего я был доведен, что обрадовался войне... Чтоб Брегадзе не перехватил меня, я в Натадзари уже не вернулся, Циале письмо отослал, а сам ушел на фронт. Ушел с надеждой. Убьют меня, Циала останется вдовой солдата, может тогда ей дадут покой. Но не убили. В сорок третьем меня, тяжелораненного, демобилизовали. Вернулся домой с незажившей раной да с гипсовой повязкой на плече, но с наградой. Тебя не застал. Я еле стоял на ногах, сил еще не было, но тут же, никому ни слова не сказав, забрал семью и уехал в Кутаиси...

Несколько успокоившись, Габо продолжал:

— Циала же боялась. Говорит, найдет этот душегуб нас. И действительно. В конце декабря пятьдесят первого года ночью подняли нас. Всей семьей. Как же нам было не радоваться? Всей семьей, представляешь! Значит, нам не дрожать в ожидании наказания, а вместе нести наказание. Поверишь ли, за все те годы Циала в ту ночь впервые вздохнула свободно... Вот, Алекси, пожалуй, все...

— А что с родителями Циалы? — глухо спросил Алекси.

— Отец Циалы честнейший был человек, хороший инженер... Однажды на стройку явился очкастый кровопийца, как всегда начал лезть в дела, в которых ни черта не соображал. Что-то ляпнул, а тесть мой, как очевидцы по секрету сказали нам позже, улыбнулся... Ну и в ту же ночь взяли его как «врага народа»...

Дальше они шли молча.

— А как ты и Циала отнеслись к амнистии? — нарушил молчание Алекси, присев у арыка.

— ...Мы даже не знаем, распространяется ли эта амнистия на нас, до сих пор не знаю, по какой статье нас выслали... А для чего знать? Когда сочтут, что мы свой срок отбыли, тогда и уедем. А пожизненно — так пожизненно... Если примете к себе, поселимся в Цветочном, а нет — так...

— Спасибо, брат мой, что пришел к нам! — прервал его Алекси, и, обменявшись крепким рукопожатием, они отправились в поселок.

По настоянию Дали семья Нацвлишвили поселилась в их домике.

Вскоре из районного центра в поселок прибыл нарочный. Алекси срочно вызывали в Райвоенкомат. Военком, бывший фронтовик, полковник, встретил его приветливо, высказал сожаление, что не смог сам побывать в поселке, о котором люди кругом говорят столько хорошего. Алекси, конечно, рад был это слышать, но чувствовал, что полковник почему-то оттягивает то главное, из-за чего, наверное, и вызвали его, и старался подавить все усиливающееся волнение.

Наконец полковник вынул из ящика стола какие-то списки, вручил их Алекси и с сочувствием пояснил ему:

— Эти люди могут хоть сегодня ехать домой. К великому сожалению, официальные сведения о гибели их близких на фронтах Отечественной войны оказались где-то затеряны. Мы их вчера получили из Тбилиси... — И помолчав минуту, чтобы дать Алекси возможность прийти в себя, договорил: — Лично ваш вопрос, я убежден, в ближайшее время будет рассмотрен...

Медленно спадала в Цветочном первая волна радости, освобождения и запоздалой скорби по погибшим на войне близким.

Мосэ, втихомолку всплакнув по погибшему брату, пришел с повинной к снохе, а потом бросился к Алекси.

— Опять ты оказался прав, леший тебя возьми! — крикнул он, пытаясь стиснуть его в объятиях.

— Да отстань ты от него, у тебя еще хватает совести говорить с ним?! — цыкнул на него коротышка Абра.

— Ты ростом не вышел меня критиковать! — весело парировал Мосэ, потом обратился к другим: — Я ведь думал, кроме той окаянной амнистии, нет нам другого выхода! Теперь я приношу извинения Алекси. А он не такой, как вы, он не умеет держать в душе обиду, понимает что к чему!

— Не теряй времени, — рассмеялся Алекси, — надо готовиться в дорогу.

— А я, любезные сердцу моему ирмисцы, пока никуда отсюда не двинусь! — объявил Мосэ во всеуслышание. — Да, да, чего уставились, я вам не кукла!

Из благодатного чрева этой земли урожай так и прет, вон на моем участке сколько добра, как по-вашему, могу я все это бросить?

— Так чего ж ты горлопанил, чтобы у тебя кость застряла в горле, — рассердился Цицero.

— Ой, беда, люди, к нему вернулось желание болтать! — схватился за голову Мосэ, потом стал выговаривать «обидчику»: — Тебе длинный язык дан для того, чтоб ты врагов донимал, а не друзей. Воля моя, когда хочу, тогда и уеду, понятно тебе?

— Сознайся, дядя Мосико, ты хочешь быть первым дегустатором здешних вин! — поддел его Бидзина.

— Эту честь я уступлю тебе, может, к тому времени поумнеешь да перестанешь старшим дерзить!

— А все же, Мосико, как долго думаешь здесь застрять? — спросил его Тенго.

— Не то чтоб надолго, но особо спешить мне незачем, там мою детвору горячий каравай не ждет. Справлюсь с делами, заработаю на дорогу да на расходы для начала, тогда и подыму свой ковчег. Так будет разумнее, не правда ли, Алекси?

И так как не надо было спешить, остальные тоже спокойно, с толком начали готовиться к отъезду.

В путь-дорогу собирались и Додашвили.

Коста Илетакса что-то редко стали видеть в поселке.

И Ола редко показывалась на людях.

Как-то, выпроводив детей из дому и плотно прикрыв за ними дверь, Наталиа повернулась к Ола:

— Ну, что думаешь делать, невестушка?

Ола расплакалась.

— По мужу и слезинки не проронила, а сейчас по ком рекой разливаешься, а?.. Спрашивают, надо отвечать!

— А что мне отвечать? Когда плакала по мужу, вы запрещали, говорили, нельзя живого оплакивать. Потом горе сменилось обидой — если жив, почему не придет весточки? А потом уже и не плакалось, и злости не было. Шутка ли, двенадцать лет? И эта беда свалилась мне на голову. Не попади мы в Казахстан...

— Я помоложе тебя была, когда овдовела, но попади я хоть в Трапезунд, все равно и мысли не допу-

стила бы, что можно вторично выйти замуж. Теперешние норовите все любовью оправдывать... И угораздило же тебя полюбить эту образину, эту каланчу?!

— Образина он, каланча или что похуже, вы же первая начали его расхваливать. По-вашему вышло, что лучше него нет человека, а я и сейчас думаю, что такого, как Элизбар, нет и не будет на свете!

Наталиа внимательно пригляделась к невестке, и глаза у нее потептели.

— Хвалила, так было за что, сама знаешь! Я должна была ругать его, что ли, чтобы он тебе не приглянулся?

— Вот, опять же вы признаете, что хороший он. И все у него идет от чистого, доброго сердца. И в детях души не чают...

— Души не чают! Ишь, куда замахнулся, собака. Может, думаешь, детей Додашвили я отдам кому-нибудь?!

— Ничего я не думаю, как вы скажете, так и будет! — снова расплакалась Ола.

— Ого, вот как ловко повернула!

Наталиа из дома Додашвили не прощала ложь другим, не простила бы и себе. А правда была в том, что материнское сердце чувствовало, что нет в живых Элизбара, иначе он, конечно же, подал бы весточку о себе. И то, что Джибо Чимиашвили наговорил ей про сына в ту декабрьскую ночь—будто он у фашистов, как у Христа за пазухой живет, она восприняла как злую клевету. Ни на миг не поколебалось ее доверие к сыну. «Брешет, подлюга!» — решила она безоговорочно. И теперь, когда пришло известие о гибели Элизбара, Ола была права, время, оказывается, сделало свое дело, притупило остроту горя...

Наталиа вздохнула: так уж жизнь устроена — время управляет и горем и радостью. Вечная, светлая память погибшим, решать же надо судьбу живых — от этого никуда не денешься... Наталиа чувствовала острую тревогу за судьбу Ола. «Помру я, что с ней будет?.. Одна с тремя детьми... Мальчикам же нужна крепкая мужская рука. Я за Ола и за детей в ответе и перед совестью, и перед сыном, и перед людьми. Только надо, чтобы все было, как положено, чтоб не было у людей повода злословить о невестке...» — решила она

в душе и, сдержав наворачнувшиеся на глаза слезы по сыну, снова обратилась к невестке. Но тепло и заботливость свою скрывает строгим тоном:

— А о том ты подумала, что ирмисцы скажут? Наталия Додашвили невестку в Казахстан замуж отдала?!

— Что вы, мама, зачем в Казахстан? — горячо возразила Ола. — Неужто он не найдет кров на нашей земле?

— А приbedнялась, ничего, мол, не смыслю!

— Верьте мне, мама, я не позволяла себе и думать об этом! Но часто и невольно думала: отец родной не смог бы сделать для своих детей больше, чем этот человек... И думала, почему такой человек должен быть одиноким...

— Ладно уж! Много на свете одиноких, всех не приголубишь!.. Какое-то чертовское имя «Беатриче» приклеил он тебе, этим, что ли, приворожил?

Далеко за полночь, когда Ола с детьми уже спали, Наталия, накинув шаль, вышла на улицу и решительно постучалась в дверь к Илетакса.

— Коста, ты дома?

Услышав голос Наталии, Илетакса растерялся и так струсил, что готов был спрятаться. Но Наталия уже вошла в комнату.

— Я сорочки твои гладила и утюг здесь забыла.

— О, мадам Натали, очень спасибо за сорочка, садитесь, пожалуста.

— Не время садиться. — Наталия взяла утюг и внушительно проговорила: — Мы уезжаем, всей семьей уезжаем, понятно тебе?

— Конешна, коңешна, очень-очень понятна... — От взгляда Наталии не ускользнуло, что смуглые скулы Илетакса покрылись пунцовыми пятнами.

— Так вот, ты потом приедешь к нам в Ирмиси, когда станешь нашим человеком, когда наш паспорт получишь, чтобы потом из-за тебя обратно в Казахстан не выслали нас, понятно?

— О, мадам Натали, паспорт будет очень-очень скоро, мой документ пошла на Москва!

— Вот как получишь, тогда и начнешь собирать-ся. А до тех пор учись говорить по-грузински, понятно тебе?

— Но по-грузински язык зовсем хорошо я могу учить только на Ирмиси! — в ужасе всплеснул руками Коста.

— Все равно, Коста, — строго продолжала Наталиа, — ты подождешь, мы сообщим, когда тебе ехать. Пойми, Ола мне дочь, все должно быть, как положено.

— Конечно, я буду подождать, хотя спешна хочу быть с ваша дочка, внучка, внука, и с вами на ваши Ирмиси... — Коста снял очки и во второй раз со дня знакомства склонился, чтобы поцеловать руку Наталии.

Сгоряча она любого другого огрела бы утюгом по голове, но этого... «Эх, плохо, когда человек скверный», но и такой хороший — кажется, тоже плохо», — подумала Наталиа, а потом холодно сказала:

— Не так уж вы молоды — ты и моя Ола, чахотку от разлуки не наживете!

— Да, мадам Натали, чахотка не будет, только мне очень-очень трудна и один день не побеседовать с маленькая Натали... — он вертел в руках свои очки и, очень похожий на взъерошенную печальную птицу, тихо сказал: — Я покупаю билет для аэроплан, маленькая Натали очень-очень спешна хочет на Ирмиси...

— Для Озбетелашвили тоже нужно купить три билета.

— Я эта знаю. Дали и Осико есть очень хорошая внука, я для них делал решетка на могиле дедушка Иваника...

— Это доброе дело, Коста, дай бог тебе счастья.

— Дали и Осико очень-очень многа помогали свой мама Феврония, кагда обед делали после решетка на могиле дедушка Иваника... — задумчиво продолжал Коста Илетакса, словно прислушиваясь к свисту дрозда...

«Февронией» прозвал он Тебро, говорит, Тебро — по-гречески будет «Феврония», — улыбнулась в душе Наталиа.

— Доброй тебе ночи, Коста, я пойду, спи спокойно!..

И Наталиа ушла, на этот раз и в самом деле забыв взять утюг.

* * *

Проводив уезжающих ирмисцев, Магжан Тасанбаев пригласил Алекси в чайхану. Поговорив о разных делах, решив в опустевших домиках поселка поселить казахов, работающих на виноградниках, Магжан пил уже девятую пиалу и глазами-буравчиками так и сверлил Алекси.

— Что ты хочешь сказать? — улыбаясь, спросил Алекси. Он знал привычку Тасанбаева перед задушевной беседой вот так пытливо и долго глядеть на собеседника.

Магжан допил чай и, довольно крикнув, отодвинул от себя блюдце с опрокинутым на него стаканом. Потом он неторопливо набил трубку крепким и ароматным грузинским табаком и, выпустив сизый клуб дыма, заговорил:

— На только что закончившейся сессии Верховного Совета я встретил много друзей и побратимов. Откровенно тебе скажу, мне ведь не давал покоя вопрос вашего выселения, но с тобой я не хотел говорить на эту тему. А на сессии я спрашивал всех своих друзей. Они многое рассказали мне такого, о чем я не знал и не слышал. А самое главное — все они говорили, что в пятьдесят первом году выселяли людей только из Грузии... Ты это знаешь?..

Алекси, конечно, знал, но ему смертельно не хотелось говорить об этом. Зачем? Разве подобные разговоры могли разъяснить непонятное? Об этом непонятном Алекси по-прежнему думает одно, ирмисцы — другое, у Коста Илетакса есть свое мнение, и Магжан, видимо, хочет высказать свое. Для чего? Ведь именно тот факт, что у каждого свое мнение, отличное от мнения другого, говорит о том, что истина никому неизвестна. Так к чему разговоры, после которых каждый остается при своем мнении?

— Почему молчишь? Только из Грузии выслали... — продолжал Магжан. — Мои товарищи говорили, что руководители Армении и Азербайджана не выполнили приказ о выселении. Они были у Сталина и отстояли своих, убедили его, что у них нет ни одного человека, подлежащего выселению. Да, да, так было, не веришь? — Верю, ну и что? — сказал Алекси только для

того, чтобы упорным своим молчанием не обидеть Магжана.

— Иой!.. Как что? Со дня вашего прибытия сюда я внимательно приглядывался к твоим людям. Скажу прямо: хорошие люди, честные, трудолюбивые, влюбленные в свою землю. Я до сих пор не пойму, почему новый руководитель вашей республики не поступил так, как руководители Армении и Азербайджана?!

В памяти Алекси вновь всплыла беседа с Нико на холме утром 9-го мая. Они с полуслова понимали друг друга. Это было естественно — они одинаково знали, чувствовали, на себе ощущали всю сложность ситуации, сложившейся в республике. Да, руководители других республик могли добиться встречи со Сталиным, могли защитить своих людей. А Грузия? Она как была, так и осталась в полной власти очкастого дьявола, кто бы решился опротестовать его приказ? «Человек может быть честным, умным, образованным, но если в нем мало мужества, он не станет отстаивать правое дело. Не все родятся борцами и героями...» — сказал тогда Нико. Тогда их беседа касалась виноградников, и как они могли предвидеть, что человеку, у которого мало мужества, нужно будет отстаивать не лозу, а людей, что страх заставит его предать своих соотечественников?!

Молчал Алекси. Как объяснить Магжану, что ненависть, рожденная в песках Кызылкума, сменилась презрением к трусости и малодушию, и это презрение для него сильнее и значительнее ненависти. Может, кому другому он смог бы объяснить это чувство, но Магжану?.. Как объяснить человеку, который не побоялся оказать братскую помощь людям, поставленным вне закона, что человек, обладающий властью, не захотел, не смог защитить свой народ.

Алекси с трудом процедил сквозь зубы:

— Ему приказали, он и выполнил приказ...

— Приказали... — протяжно повторил Магжан и снова вонзил свои глаза-буравчики в Алекси. — Извини, брат, не сочти за праздное любопытство. Я любил твоих земляков, и, представь себе, именно через них я по-настоящему любил твой народ. Потому я хочу знать, зачем Сталину нужно было это приказывать?

314935740
31230110933

— Из чего ты заключаешь, что это приказал Сталин? Ты ведь сам сказал, что те, которые дошли до него, отстояли свой народ.

Магжан снова набил трубку, выпустил клуб сизого дыма и слегка коснулся плеча Алекси:

— Слушай, брат, тогда я не понимаю, почему так получилось, что после его смерти начали отпускать невиновных?

— Начали отпускать и виновных. Ты это знаешь лучше меня. Ты шумно возмущался, когда отпускали на волю неисправимых, опасных преступников. Магжан, меня оторвали от Ирмиси, большего наказания для меня не придумать, и я говорю вслух то, что думаю, во что верю...

Глава пятая

Когда первые семьи вернулись из Казахстана, в Дарианском районе вокруг «запоздалых похоронок» ходили разные слухи. Не зная истинной сути дела, люди во всеуслышание проклинали Сардиона Магалашвили. А его как ветром сдуло. Говорили, что когда его «взяли», он пил за помин души своего друга, погибшего в автомобильной катастрофе Рафиэла Брегадзе.

Не было видно и Рамаза Мелитаури, но кое-кто видел его, когда он входил в кабинет Гулвардишвили.

Секретарь, не ответив на его приветствие и не предлагая ему сесть, сухо сказал:

— Кто тебя просил вмешиваться не в свое дело? Тебе не жалко Магалашвили?

— Тебя его судьба волнует или собственная? — спросил Мелитаури, опускаясь на стул.

— Ты много себе позволяешь! — повысил голос Гулвардишвили.

— Не кричи, пожалуйста, у меня голова болит.

— Как ты смеешь? Ты забыл с кем разговариваешь? — вскочил с кресла секретарь.

— Не кричи, говорю, — тихо, но как-то строго сказал Рамаз, в упор глядя на него.

Гулвардишвили показалось, что перед ним другой, незнакомый ему человек, имеющий право так говорить. Он разом обмяк и опустился в кресло.

Рамаз подождал, пока руки секретаря, покрытые рыжеватым пушком, улягутся на подлокотники кресла.

Наконец Гулвардишвили успокоился, вцепившись в подлокотники, даже усмехнулся в душе: сила Антея заключалась в ноге, касавшейся земли, его же, Прокофи Илларионовича Гулвардишвили, делает всеильным это кресло. Обнаглевшего Мелитаури сейчас он выставит из кабинета. Но пока он подыскивал соответствующие слова, Мелитаури сказал:

— Брось кричать и ругаться. Знаешь ведь, прежний стиль изъят из употребления. Я не ругаться пришел. Да и ругаться теперь с тобой не бог весть какое геройство.

— Ты так думаешь? — оправившись от минутного замешательства, насмешливо приподнял брови секретарь.

Рамаз знал, сейчас дряблая кожа Гулвардишвили, подобно выцветшей бязи, соберется в складки до темени и до ушных раковин. «Он действительно не знает, почему я так думаю. Он никогда не знает, кто что думает. Он вообще не знает, почему люди думают. Череп у него, как гроб. Гроб мыслительного аппарата. В гробу этом одна-единственная мысль — собственное благополучие. Все остальное кружится вокруг этой единственной мысли...» — думал он, глядя, как расходятся складки на лбу.

То ли оттого, что у Рамаза болела голова, то ли оттого, что ему ясно представился гроб с копошащейся в нем мыслишкой, он вдруг ощутил тошнотворный запах тлена.

И секретарь не сводил с него взгляда. Что-то новое и незнакомое в Рамазе вынуждало его напрягать внимание. Он решил, что лучше всего — обратить в шутку весь предыдущий разговор.

— Скажи, ты когда-нибудь задумывался, почему человек называется человеком? — спросил его вдруг Мелитаури.

— О, это интересная головоломка! — рассмеялся Гулвардишвили, расположившись к легкой беседе.

Для чего Рамаз задал ему этот вопрос? Не все ли

равно, что на это ответит Прокошка? Сидеть с ним, видеть его, слышать его голос Рамаз не мог. Он пришел к Гулвардишвили, чтобы привести в действие ту одну-единственную мысль, которая гнездится в черепе этого человека. Рамаз знает, до чего это неправдоподобно легко и просто.

— Тебя интересует эта головоломка? Вот и будет у тебя чем заняться, сиди и разбирай... Я пришел дать тебе совет, слушай внимательно. Магалашвили не станет тебя выгораживать, это ты хорошо знаешь. Извещения, пожелтевшие в его сейфе, вскроют одно звено ваших преступлений и потянут за собой длинную цепь, и тогда... Да сиди ты, не волнуйся, дай поговорить. Послушайся моего совета, поторопись откеститься от этой своей вины, вернее, использовать ее для своей реабилитации, для тебя это очень важно. В Казахстане еще остались люди этого района... Постой, не перебивай. Ты постарайся поскорее их вернуть. Ты должен приложить все усилия, чтобы все до единого вернулись как можно скорее. Ты должен очень постараться, чтобы вернулся как можно скорее Алекси Рчеулишвили...

— Ох, Рамаз, Рамаз, какой же ты, оказывается, неблагодарный! Так ты оценил мою заботу о тебе? Мотался где-то по бездорожью, я приютил тебя в своем районе, дал тебе завидную службу, наконец, я чуть ли не ценой...

— Молчи!.. Я плюю на службу, данную тобой. Я согласовал свой вопрос в Тбилиси и уже сдал дела. Я свободен. Про меня ты забудь, а мой совет прими. Поторопись исправить зло, содеянное тобой, позаботься о возвращении остальных.

— Ты чудак! Кто меня спрашивает об их возвращении?

— Конечно, не спрашивают, но ты сам прими участие, начни действовать без промедления, чтобы вернули высланного по твоему злобному навету Рчеулишвили. Тебе народ за это многое простит, а при нынешней обстановке начальство может даже повысить тебя в должности, теперь гуманизм в моде. Вот тебе адрес спецкомиссии, которая занимается делами высланных. Напиши им сегодня же, пока не поздно, пока ты еще секретарь и твое слово чего-то стоит. Врать и

извращать факты ты мастак. Напиши, что те извещения обнаружены твоими стараниями. Твое счастье, что Брегадзе сломал себе шею, вали все на него! Напиши, что ты, рискуя своим партийным билетом, отстаивал людей, но смог спасти только лишь семью Рчеулишвили... Ты можешь от имени трудящихся потребовать немедленного восстановления поправленной справедливости, возвращения Алекси Рчеулишвили...

Мелитаури отодвинул стул и встал.

— Пиши, я не буду тебе мешать... О-о, как ты опоздал родиться, маленький, злобствующий феодал... — сказал он тихо с горькой усмешкой и, не прощаясь, вышел из кабинета.

Придя в себя, Гулвардишвили кинулся к окну. Он видел, как Мелитаури не спеша пересек площадь и исчез из виду. Он понял. Горец добился своего — бежал из долины. И слава богу!..

Гулвардишвили долго стоял у окна. «Свидетелей этого разговора нет», — подумал он с облегчением, и все оскорбительное, все унижающее, выслушанное им только что, словно отскочив от стен кабинета, унеслось вслед за Мелитаури. Осталась лишь стрела, пушенная им и попавшая точно в цель...

Он отвернулся от окна. Окинув взглядом высокий потолок просторного кабинета, люстру, игриво поблескивающую хрусталем, следы портретов, снятых со стен, он нажал на кнопку звонка.

— Узнай, почему до сих пор не принесли мне портреты новых руководителей! — строго сказал он вошедшей секретарше и добавил: — Я занят, ко мне никого не впускать!

Когда дверь за секретаршей закрылась, он повернул выключатель. Вспыхнула люстра. Повернул еще раз — вспыхнули еще восемь лампочек. Повернул в третий раз — еще восемь. Он полюбовался люстрой, ослепительно засверкавшей всеми двадцатьючетырьмя лампочками, а потом вытащил из сейфа пухлую папку и сел за письменный стол.

«Дурачье. Что может угрожать моему положению? Разве я не по заслугам достиг всего этого? Меня вырастила и воспитала партия, я партийный кадр, номенклатурный, да, да! Шутка ли, иметь за спиной такой стаж партийной работы? Я кристально чист. Ме-

ня ни в чем нельзя упрекнуть. Разве я когда-нибудь критиковал мероприятия вышестоящих органов? Разве перечил им или не выполнял указаний? Меня считают образцом партийной дисциплинированности, идеалом партийного работника, подумывают взять меня в центральный руководящий аппарат. Сколько доказательств моей дисциплинированности! Взять хотя бы это мероприятие. В нашем районе оно проводилось по линии Рафиэла Брегадзе. Я был против, всей душой был против, но выполнил приказание, подчинился дисциплине. И списки высылаемых составлялись Рафиэлом Брегадзе самолично. Несмотря на то, что я мог заплатить своим партийным билетом, попасть в тот же список, я все же пошел на риск, выдал неполный список людей, подлежащих выселению...»

Он торопливо изложил на бумаге свои доводы, а потом снова начал листать папку с надписью «Совершенно секретно» и выдернул из нее копию своего рапорта, написанного много лет тому назад.

«Да, я писал: «Рчеулишвили всегда выступает против постановлений партии». Имел ли я, руководящий партийный работник, право не сигнализировать об этом? Я был вынужден сигнализировать, несмотря на то, что глубоко уважал товарища Рчеулишвили, принципиально и героически выступавшего против ошибочных лозунгов. Это подтверждается тем, что, пренебрегая опасностью, я спас семью Рчеулишвили от выселения...»

Изложив все это на бумаге, он поджег свой прежний рапорт. Подождал, пока бумага превратится в пепел, потом вытянул из папки какое-то письмо, зажег новую спичку. Но вдруг его осенило — и он погасил спичку.

Это было письмо, присланное из Яблоньки в республиканский военкомат и оттуда пересланное в Дариани. Этим письмом потрясал он, стоя на трибуне. Жители Яблоньки просили помочь разыскать старшину Алекси Рчеулишвили. Они не знали, вернулся ли домой старшина, и поэтому подробно писали обо всем, что знали о нем сами и что им удалось установить по следу дивизии, в которой он служил. Они писали, что старшина был представлен к высшей награде, но из-за недоразумения с майором контрразведки дело было

приостановлено. Они писали, что в Яблоньке старшину все равно считают героем, что с нетерпением ждут ответа и не теряют надежды поблагодарить лично старшину или его семью...

«С ума я сошел, чуть было не уничтожил такой ценный документ!» Он немедленно вручит это письмо семье Рчеулишвили. А копию письма приложит к своей объяснительной записке и сообщит спецкомиссии о том, что письмо из Белоруссии также было найдено в сейфе Магалашвили...

В заключении своей докладной он написал: «Дарианский райком партии вместе с трудящимися всего района решительно настаивает на скорейшем возвращении высланного по ошибке Алекси Александровича Рчеулишвили, бывшего фронтовика, человека высокой сознательности, образцового труженика и хорошего специалиста-виноградаря...»

Довольный своей дальновидностью и оперативностью, он принялся переписывать докладную набело.

* * *

Через несколько дней машина Гулвардишвили неслась по улочке села Кириани. Он не любил ездить через обнищавшую деревню, но к родственникам жены иначе нельзя было попасть. Чтобы избавиться от неприятного зрелища, он и для родичей супруги выхлопотал квартиру в Тбилиси. С этой хорошей вестью, в приятном расположении духа он и ехал сейчас к ним.

Когда машина промчалась мимо последнего полуобвалившегося дома, водитель взглянул на холм, примыкающий к Кириани, и, заметив на его вершине клубы дыма, скосил глаза на дремавшего секретаря и прибавил газу. Но машина вскоре застряла и шофер вынужден был выйти и позвать на помощь людей.

Обозлившись на шофера, Гулвардишвили пересел на заднее сиденье, стараясь запрячься как можно глубже. «Эта неотесанная деревенщина еще ползет ко мне со своими дурацкими просьбами», — бурчал он про себя, наливаясь желчью.

На резкие призывные гудки мгновенно появились люди, словно они только их и ждали, этих гудков. Некоторые оказались столь предусмотрительными, что захватили лопаты и мотыги.

«А мне казалось, что это маленькая, безлюдная деревушка», — удивился Гулвардишвили. Людей он не знал, и потому ему невдомек было, что с кирианцами пришли и жители близлежащих сел.

Они окружили машину, и Гулвардишвили был вынужден опустить стекло, отвечать на их приветствия и даже беседовать с ними.

— Здравствуйте! Как поживаете, товарищи?

— Вашими стараниями! Хорошо живем! Спасибо, не жалуемся! — отвечали ему весело, приветливо.

— А почему у вас дорога в таком состоянии?

— Да вот, в прошлый ливень ее размыло, а потом тракторы прошли и вот... Вы уж извините, что так получилось! Знали бы, что вы проедете, всю ночь бы работали!

— Пока расчистят дорогу, может, вы отдохнете? — предложили ему.

«Сегодня они что-то не ноют...» — подумал Гулвардишвили и с улыбкой сказал:

— Не престольный ли праздник сегодня, что-то много вас оказалось дома.

— Не престольный, но праздник у нас большой! Уважьте нас, взгляните сами! Знаем, некогда вам, но ведь все равно ждать придется! Передохните у нас, очень просим!

Люди приглашали искренне, вежливо, и не было никакого повода отказываться. Да и любопытно, с чего они так оживлены!

Секретарь вылез из машины и, окруженный колхозниками, пошел в деревню. Хотя и был уверен, что кто-нибудь непременно обратится к нему с просьбой, он решил не сердиться. «Так и быть, пообещаю помощь. Можно и выполнить какую-нибудь просьбу, как раз сейчас это мне на пользу». Довольный своим решением, он снял панаму, покрыл голову носовым платком с завязанными в узлы углами, как это обычно делают крестьяне, и, обмахиваясь газетой, пошел с ними.

Беседуя, они незаметно подошли к небольшому аккуратному строению, похожему не то на сарай, не то на хлев.

— Что это? — спросил Гулвардишвили.

— Отойдите, ребята, чего вы дверь загородили?

Для вас, что ли, готовили? — прикрикнули крестьяне на молодежь, толпившуюся в дверях.

Пока Гулвардишвили, войдя, привык к темноте, все вышли из сарая и прикрыли дверь.

— Садись, начальник, там есть стул и постель. Располагайся, пожалуйста, — сказали крестьяне и снаружи навесили на дверь большой замок.

Гулвардишвили не сразу понял, что произошло, а поняв, остолбенел, потом остервенело начал кричать, бить в дверь кулаками и ногами.

— Успокойся, голубчик, не трать зря силы. Дверь мы тебе не откроем, а тебе ее не выломать. Приляг, отдохни. Ты привык к деликатным угощениям, у нас проще. Там тебе припасли хлеб да чеснок, чтоб не упрекнул нас, заморили, мол, голодом, а то сам знаешь, ты и крошки нашего хлеба недостоен.

— Откройте сейчас же! Откройте, говорю вам! За оскорбление власти, за бесчинство вы ответите! Поплатитесь!

— Хватит кричать, — строго оборвал его голос снаружи. — Угрозы нам уже не страшны, ты приучил нас к ним. Ложись и отдыхай от трудов своих.

— Что вам нужно от меня, скажите, чего вы хотите? — попытался изменить тактику Гулвардишвили.

— С нас хватит того, что мы получали от тебя. Теперь ты немного потерпи. Пригласим из Тбилиси людей, пусть навестят тебя. А там — как вы договоритесь... Мы на все будем согласны! Теперь ты отдыхай, а мы займемся своими делами.

Голоса у сарая смолкли. Стало очень тихо. Гулвардишвили в смятении опустился на топчан. «Так вот что они подстроили, эти подлые, коварные твари! Как же я оплошал, как я доверился этим бандитам? Неужели они посмеют вызвать кого-нибудь из Тбилиси? Нет, нет, очевидно, решили припугнуть меня. Одумаются и откроют дверь. Хотя бы шофер не поднял тревоги надо тихо-мирно кончать это дело. Пусть скажут, что им нужно, я все исполню. По доброй ли воле, по принуждению ли — выпустят они меня, а там я им покажу, где раки зимуют...»

Тем временем крестьяне проводили своих представителей до машины Гулвардишвили. Все происходило молча. Не до смеха и разговоров им было.

Еще раз поблагодарив шофера за солидарность, провожающие повторили наказ своим представителям: — Учтите, на все вопросы у вас должен быть один ответ: ничего не знаем, сами на месте разберетесь!

Машина отъехала.

Люди расходились молча.

На холме догорал сигнальный костер. Рамаз Мелитаури посмотрел вслед удалявшейся в сторону города машине и вздохнул с облегчением. Он тщательно затоптал огонь, долгим прощальным взглядом окинул Ирмиси и, вскочив на своего белоногого коня, прищпорил его.

В пути он встретился с отарами, идущими с Тушетских гор к зимним пастбищам. Обрадованные встречей, пастухи остановили отары и решили тут же устроиться на ночевку.

Расположившись вокруг костра, они никак не могли наговориться. Ночи им было мало, чтоб излить годами накопившуюся горечь. Время от времени Рамаз, чтобы разрядить обстановку, начинал по-старому острить и балагурить и так похоже изображать кого-нибудь из дарианских заправил, что пастухи покатывались с хохоту.

Поднялись лишь на рассвете. И долго-долго провожали друг друга. Никогда им не было так трудно расставаться. Пастухи уговаривали Рамаза пойти с ними в Прикаспье. Они не хотели глядя на зиму отпускать его в горы. Но Рамаз был непоколебим.

— Весной я там встречу вас, — твердил он.

Наконец разошлись. Отары пошли своей дорогой, Мелитаури на коне исчез за крутым поворотом.

Одноглазый пастух Пирана долго смотрел ему вслед, потом покачал головой и со вздохом проговорил — как напоролил:

— Не к добру едет он в снежные горы...

Глава шестая

Новому секретарю райкома Важа Кверенджадзе не пришлось тратить время на знакомство с людьми и делами района. Он ведь и сам вписал немало страниц в повесть, которая, начинаясь в Ирмиси, продол-

жалась от села селу, обогащаясь в пути все новыми главами. Ездил он сейчас по знакомым селам и старался понять, что же вынудило честных, трудолюбивых, долготерпеливых дарианцев вынести своему руководителю неслыханный приговор?!

Но удивляется Важа про себя, вслух же он, как, впрочем, и другие, не упоминает выкинутого из той повести «злобствующего феодала». Важа намерен начать новую главу, но знает, что она не дастся ему легко, пока живет зло, содеянное его предшественником.

Он знает, что как бы успешно ни налаживал дела, как бы добросовестно ни выполняли люди его задания, до полного признания, подлинной дружбы и доверия будет далеко, пока между ними стоит это препятствие. А Мака, вместо того, чтобы успокоить и ободрить его, без конца жалит:

— За что тебя уважать? Никто в тебя не поверит, если ты не восстановишь справедливости! Скажут, что старый, что новый секретарь, все одно... Алекси до сих пор страдает...

— Ты воображаешь, я всемогущий?— вскипает Важа. — Я могу исправить то, что мне поручено исправить, что зависит от меня. Будем сдавать государству много хлеба. Будем развивать животноводство, шелководство. Расширим эфиромасличные плантации. Будем разводить и другие ценные культуры, будем внедрять все передовое. И все будут знать, что в Кახети главное — лоза! Будем расширять виноградники и улучшать сорта винограда, не зря ведь Хатула защитила диссертацию по коньячным сортам. Нам позарез нужны хорошие виноградари, и Алекси сегодня мне нужен, как никогда!

А Мака не унимается:

— Плевать людям на все твои заботы и хлопоты, на все твои достижения, если не будет справедливости!

— Чего ты меня травишь, разве я не делаю все, что могу? Мало я пишу во все инстанции? Думаешь, убрали негодное руководство и сразу все стало на места? Что я могу? Мы без конца пишем, объясняем, требуем. Надо ждать, набраться терпения и ждать!

— Любили тебя, пока ты был просто Важа Кверенджадзе, любили славного парня. Секретаря за это не станут любить. Кто не понимает, за что люди мо-

гут любить своего руководителя, тому до хлева ^{пусть} недолгий.

Стремительно бегут дни в Дариани, наполненные ожиданием, надеждой, трудом. Проходит зима. Вот-вот деревья нальются соком, вспенятся талые воды Ирмисхеви.

А в далеком поселке Цветочном те же самые дни ползут, ползут, и нет зиме конца. Не переставая, метет поземка. Не переставая, свистит, воет ветер, засыпая глинобитные домики снегом. Носится, кружит снежный вихрь по необъятным степям, обступившим Цветочный со всех сторон.

В домике Илетакса порой до самого утра горит свет. Книги на греческом, казахском, грузинском, русском языках, медицинские, философские, технические, помогают ему коротать бесконечные ночи. Но какое же удивительное существо человек! Все книги затмевают думы о находящейся в далеком Ирмиси семье Додашвили. И фолианты, доставшиеся с таким трудом, отступают перед измазанным чернилами дневником маленькой Нато, которая все никак не поладит со знаками препинания.

Дядя Коста истосковался по маленькой Натали, но Додашвили не зовут его. Ну и что же? У Илетакса уже есть новый, чистый, советский паспорт, и советскому гражданину не запрещается ехать в Ирмиси. Он без зова может поехать туда, но... Коста Илетакса — в Ирмиси, а Алекси Рчеулишвили — в Казахстане? Это парадокс, а Коста не хочет парадоксов. Ждать надо!

В соседнем домике почти всегда темно. Кажется, ничто уже не в силах обрадовать усталую душу. У потухшего очага сидит Алекси, а ветер воет, свистит в трубе.

Да, что и говорить, закаляться в терпеливом ожидании помогают и книги, и выделка кирпичей для будущих домиков поселка, и сборка машин из старых частей, и уход за виноградниками, и выведение морозостойчивой лозы, и работа на хлопковых плантациях, но... Но кто может сказать, почему так устроен человек, что былинка на родной земле ему дороже роскошных необозримых цветников на чужбине? Что за

волшебная сила таится в той беззащитной былинке, что корнями своими, как цепями, прикована к сердцу, и концы разорванной цепи бьют в грудь, не умирают, но и жить не дают...

Да, прекрасно это бескрайнее небо, прекрасны эти бескрайние степи, они приобщают тебя к бесконечности. Хорошо, что казахи полюбили лозу. Хорошо, когда пересохшим от жажды ртом приникнешь к сочному арбузу или дыне, найденной под кустом хлопчатника. Хорошо, что маленькая Салима Тасанбаева выучила грузинскую азбуку и собирается к Нато в гости. Хорошо, когда у тебя на коленях засыпает Иа, родившаяся в этих степях. Не перечесть, сколько радости может испытать человек даже в чужом краю, но...

Но если звено оборванной цепи осталось далеко, где-то среди дальних гор или у разбитого молнией дуба, или под белоснежной стеной Алаверди, или на берегу горной Ирмисхеви, или в шелесте молодого тутовника, или в гроздьях винограда — ничем, ничем не заменить это отсутствующее звено.

«Олег, я презираю себя за стенания, за слабость свою, но я больше не могу совладать с собой, рвется истонченная нить терпения, и я не выдерживаю более. Видишь, призвал я тебя этой вьюжной зимой. Может, виноват в этом ветер, что воет и воет, как стая голодных волков. Может, снег виноват, что превратил наш поселок в затерянный в степях могильный курган. Может, — дымки над этим могильником, что кажутся дыханием заживо погребенных людей... Я утратил то, в чем была моя сила. Сила, о которой ты говорил, что она рождена радостью бытия. Ты был прав, я и минуты не мог жить без той радости, она жила во мне, она хранила меня, и потому не одолевали меня ни беды, ни пули, ни горе, ни несправедливость. Ни одной минуты я не жил без той радости, а теперь пошел уже семьсот восемьдесят второй день с тех пор, как я потерял ее и не могу найти, слышишь, Олег, и теряю надежду найти! На что я должен надеяться? Я несу наказание «за открытую антисоветскую пропаганду и оскорбление власти», да, да, можешь смеяться! Так сформулировано предъявленное мне обвинение, так мне

ответили недавно. И я уже не вижу просвета, на что я могу надеяться?..»

Снаружи кто-то распахнул дверь. Ветер, как буйнопомешанный, швырнул в комнату целый сугроб снега и, оставшись за поспешно прихлопнутой дверью, с злобным улюлюканьем понесся вдаль.

Пришел Леван. Алекси нахмурился.

— Почему ты сидишь в темноте?

— Вздремнул...

— И огонь погас, здесь очень холодно.

Сквозь иней на окне на темную циновку падали блеклые пятна.

Леван стал разжигать кизяк в очаге. Эта затянувшаяся минута темноты и молчания им обоим была необходима. Потом осветилась комната, запылал огонь.

Алекси удивился приходу брата. Обычно, если ему не надо было ехать в совхоз на работу, он сидел дома, будто кроме жены и ребенка никто ему не был нужен, никого он не помнил. И еще удивился Алекси странно беспокойному блеску его глаз.

— Иа здорова? — спросил он наконец.

— Не больна, но капризничает. Лиза говорит, по тебе скучает.

— Возможно. У детей тоже бывают причуды.

Разговор оборвался.

— Однажды улыбнулась мне судьба, — нарушил молчание Леван. — В счастливый час я прибыл в Ирмиси. Долго не верилось, знаешь? Поутру просыпаясь, боялся открыть глаза, казалось, все исчезнет. Все исчезнет. В этом «все» главным был ты...

Алекси сидел с опущенной головой. Левану казалось, брат не слушает его, может быть, именно это и придавало ему решимость.

— Мне было семь лет, когда мы расстались. Между нами встали такие долгие и трудные годы, что мы могли забыть как друг друга зовут. Но спустя двадцать два года я пришел к тебе. Помнишь, каким я пришел?

Леван поворошил горевший кизяк и продолжал: — Знаешь, что тогда меня привело? К тому, что я помнил о тебе сам, к немногим словам отца, сказанным о тебе, к рассказам матери о тебе я еще прибавлял свою фантазию и представлял тебя по-своему. Не

помню, каким я тебя представлял, но это, наверное, было необходимо моему детству без сказок. Тот выдуманный мальчик рос вместе со мной. Он был неразлучен со мной. И потом, когда мы выросли, он всюду следовал за мной, всюду...

Алекси показалось, что у Левана дрогнул голос. «Всюду, — подчеркивает он, наверное, имеет в виду — в плену...» — подумал он. Теперь Алекси удивлялся сам себе: и приход Левана, и его разговор, и голос, и какой-то непонятный блеск глаз только раздражали его.

— Я всегда ждал добра от людей, но встречал зло, — словно заметив раздражение брата, чуть быстрее заговорил Леван, — поэтому и старался оттянуть встречу с тобой. Боялся, что рухнет последняя надежда. Когда же я дошел до крайности, тогда решил: пропади все пропадом, чего я берегу какого-то выдуманного брата, дай избавлюсь и от этого бреда! Вот тогда я и пришел к тебе... И то, чего мне недоставало всю жизнь и о чем мечтал, я нашел. Смешно?..

— Бывают и смешные сказки...

— Нет, не хочу, чтобы она была смешной! Не хочу, чтобы мне пришлось жалеть о своем приезде в Ирмиси!

— А чем я могу помочь? Откуда мне взять больше того, что отпущено мне? Я простой человек, иногда лучше других, иногда хуже, иногда выносливее, а иногда я самый слабый из всех. Что я могу? — не поднимая головы, равнодушно проговорил Алекси.

— Если б я представлял тебя только таким, каким вижу, я подумал бы, что сказывается кровь родства. Но я увидел тебя таким, каким знают тебя люди. Или, может, с самой той поры, как ты, мальчонка, сказал отцу, что не уедешь из Ирмиси, с того самого дня играешь, обманываешь всех?..

Глаза, голос, лицо выдавали волнение Левана, хотя он так сдерживал себя, будто в руках держал весы, и малейшее движение, громкий звук, даже дыхание могли вывести их из равновесия. Чуть слышно он проговорил:

— Мы не должны оказаться обманутыми, я не должен пожалеть о своем приезде в Ирмиси...

Он хотел еще что-то сказать, но Алекси резко, словно запрещая ему говорить, поднялся с места.

— Да, обманывал! Я своим обманом измучил и жену и сына, всех, и тебя тоже! У меня не хватило ума додуматься до необходимой «правды», сообразить и сказать себе, черт с ними, с виноградниками, хватит мне и тех, что останутся после лозунгов. Не сообразил, что хватит мне и тех отар, которые вынесут бури и нашествия двуногих волков. Не сообразил равнодушно пройти мимо Яблоньки. Мне не хватило ума угождать Рафизлам и Медведевым, дружить с Джибо и со всеми пресмыкающимися, подкидывать жирные куски всем псам, не трястись над каждой каплей народного пота. Меня не образумило и наказание за мой обман, и я продолжал обманывать здесь! Обманом вовлек людей в разведение здесь лозы, обманул земляков, помещал воспользоваться амнистией, потому что сам не хотел уезжать отсюда, да, да, именно! Так и прожил я, обманывая кругом всех. А теперь, когда я не могу больше обманывать, жизнь мне не в радость, теперь ты понял?

Клекот орла с подбитыми крыльями послышался Левану в голосе брата. Не в состоянии сказать что-либо, он шумно выдохнул воздух.

Алекси вдруг пришел в себя. Заметив странную улыбку на лице Левана, он мгновенно остыл, словно его облили ледяной водой, и холодно произнес:

— Чем я могу тебе помочь? Придумал какую-то глупую сказку, сам и конец придумай, такой, какой твоей душе угодно. И шел бы ты лучше к жене и ребенку, рассказывал бы им сказки свои.

— И расскажу, знаешь? — встал Леван. — Буду рассказывать о Гонджауре, который не сгорел в огне войны со злом, задумавшем растоптать мир, который не утонул в низменных страстишках крохоборов...

Леван ушел.

Алекси долго ходил по комнате. Неожиданно для себя он вдруг сунул ноги в сапоги, надел тулуп, опоясался ремнем, нахлобучил ушанку, схватил рукавицы и выбежал из комнаты.

С воем налетел на него ветер, засыпал ему лицо снежными иглами, попытался сорвать с него одежду.

Но он потуже затянул ремень, глубже надвинул ушанку и зашагал по сугробам.

«А там в деревьях уже проснулись, бродят соки и в Ирмисхеви вспенились талые воды...»

Он шагал вперед по сугробам.

«Ну и что же? Здесь тоже скоро все проснется. Пусть лютует зима, все равно ей скоро конец».

Он продолжал идти по сугробам.

«Олег, ты не верь, что я и вправду расхныкался, не обращай внимания. Смотри, в какой теплой красивой шубке стоит наша акация. Смотри, как красив Цветочный в зимней одежде, как увлекательна эта сумасшедшая пляска белых ведьм. Где еще увидишь такую красоту? Глупец он, мой брат...»

Отойдя от акации, он еще долго шел по степи.

«И ветер зря неистовствует, зря бьется об эти защитные стены! Сам я не додумался, казахи подсказали, материал, мол, нам не надо покупать, возведем глинобитные стены на века, оградим виноградники от ветра. Так и сделали. Видишь? Скоро лоза зазеленеет, а стены сплошь покроются цветами, представляешь, какая будет красота! Глупец он, мой брат... Вот и наш опытный участок. Бедные саженцы. Нелегко им было привыкать, сперва мы их дымом защищали от холода, потом снег, как пуховым одеялом, укрыл их от мороза. Скоро им улыбнется солнце, и окажется, что они мужественно выстояли. А как же, закаляться так закаляться, надо выстоять, не так ли? А Леван, мой брат, выдумал какую-то сказку...»

Он повернул и пошел назад, с трудом отыскивая в сугробах свои следы. Возвращался он с обветренным, пылающим лицом, окоченевший, но очень довольный. А ветер то шлепал его по спине, то, забегаая вперед, юлил перед ним и ластился к нему, а то вдруг набрасывался и иглами впивался в него.

«Злись, сколько твоей душе угодно. Скоро покажется разлапистая ель и хижина деда Сандра. Из трубы вылетят искры заговоренного огонька, и кто-то крикнет: «Па-ап!.. Наконец-то ты пришел, заждался я тебя!» Закипит чайник, и Гонджаура напьется горячего-горячего чая. Он сядет у очага, и подснежники улыбнутся ему. Ну вот, мой дом. Но не вьется дымок над кровлей, значит, погас очаг...»

У порога он потер лицо снегом и вошел в комнату. «Очень кстати погас очаг, не время сейчас чай распивать, в постели отогреюсь, под двумя одеялами. Это одеяло прислано из Ирмиси, а это здесь пошила Наталиа. Здесь много ваты и цветастого ситца. Наталиа всем пошила одеяла. Но самое пестрое и самое красивое — для Коста Илетакса. Известно, зятю полагаются все самое лучшее! А теперь хватит болтать... Хочется спать... Боже, как холодно и как хочется спать...»

Наверное, прошло много времени, потому что Алексн отогрелся, отдохнул и выспался. И все последующее вовсе не похоже на сон.

В комнате горит свет, и в очаге пылает огонь. На столе шипит самовар. И Лиза, жена Левана и мать малютки Ии, разливает в стаканы такой хороший, густой чай, что аромат достигает тахты, на которой лежит Алексн. Человеку может померещиться рыжий мальчишка Лешка-партизан или оперированный белый мишка... но разве привидение может быть пузатым и размахивать дымящей трубкой и тонким голосом ругать кого-то в переполненной людьми комнате?

— А? — сам не зная почему, стремительно срыгается с тахты Алексн.

— Да! Да! — повторяет Магжан и во внезапно наступившей тишине протягивает ему небольшой лист бумаги — официальный бланк с напечатанным текстом, с подписью и круглой печатью.

Строчки запрыгали и запутались, ничего нельзя прочесть, но и не прочитав, догадался Алексн, что в ней написано. На обескровленном его лице горящими свечами вспыхнули глаза.

— А-а, сейчас я знаю, Гонджаура значит — большая-большая радость! — хлопнул себя по коленке Коста Илетакса.

— Иой... — задумчиво произнес Магжан, рукой отгоняя дым, мешающий ему видеть лицо Алексн.

— Чего вы замолчали? — тихо спросил Алексн. Бледность постепенно отошла, и теперь улыбка озаряла его лицо, обожженное ветром, солнцем, морозом, с рубцом на виске. — Магжан, ты недоволен этой бумагой?

— Плевал я на бумаги, я и без них, сам узнал те-

бя, — Магжан с трудом сдерживал наплывшие чувства.

— Эта маленькая бумага очень была нужна, — сказал Тенго.

— Эта очень-очень хорошая бумага есть кусочек коммунизма, — объявил Коста.

— Коммунизм — не бумаги, а праздник совести, — сказал Леван.

— Ваш комендант, — проворчал Магжан, — в день сто бумаг писал на вас, на меня, на всех, а громче всех кричал: «Да здравствует коммунизм!»

— Кто кричит, тот не пойдет на наш праздник, — отрезал Коста.

— Для тебя праздник будет, когда откроем новую больницу! — решительно заявил ему Тасанбаев.

— Ты сумашедши, Магжан! — возмутился Коста. — Для эта нада ишо два месяц, а я толька ожидал бумаг для Алекси.

— Иой! — возмутился и Магжан. — Ты торопишься на свой персональный праздник, а для народа не хочешь потерпеть немного! Ты настоящий шайтан, клянись аллахом!

— Гоп-ля-ля!.. — закатился смехом Коста. — Депутат верховная палата вместе садил шайтан и аллах!..

Магжан почему-то сконфузился, а все весело захохотали.

— Вам весело, а мне каково? — проворчал Тасанбаев. — Мы ведь официально запланировали новые гектары виноградников?!

— Ишо гоп-ля-ля!.. Сичас хлопка-король хочет, штоба все степи были виноградники!

— Да-а, «король»-то хочет, но кто это сделает, кто?..

— Ты считаешь, что мы не такие опытные виноградари, как Алекси? — с улыбкой спросил его Тенго.

— Опытные или неопытные — все равно, вы все уедете...

— Не знаю как другие, а я обязался передать свой опыт группе казахов, и уезжать мне нельзя, пока не доведу начатое дело до конца, — сказал Тенго.

— А где Тенго, и я там! — серьезно сказал Леван.

— И у меня свои обязательства! — заговорил Бидзина Авалишвили. — Мои комсомольцы на днях получают давильный агрегат, а я обещал провести с ними сбор винограда, да и последующие процедуры, вплоть до разлива вина на хранение. А комсомольское слово — сами знаете...

— Все правильно, я без этих ребят никуда не поеду! — рассмеялся Габо Нацвлишвили.

— Во-от, Магжан, сейчас ты знаешь, какой мы шайтан! Мы все их научим, а потом твои казахи без нас тоже будут маэстро виноделия!.. — Последние слова Илетакса потонули во взрыве хохота.

И Алекси понял: они хотят, чтобы он уехал со спокойной душой, дорогой ценой, но искренне и охотно они облегчают ему отъезд... Он не смог бы словами выразить свою благодарность, от любви к ним и от признательности грудь царапнула знакомая боль, и он тихо сказал:

— Я ведь не за границу еду, Магжан, мой второй дом будет здесь, у тебя. Не в гости я буду приезжать, а к себе...

— Иой!.. — окончательно расчувствовался Тасанбаев и смешно всплеснул руками. — Действительно все вы настоящие шайтаны! Ох, если б весь наш чудесный мир был населен подобными вам шайтанами... Но хватит мечтать, собирайтесь, едем ко мне! У меня есть свежий, совсем-совсем свежий кумыс, Алекси обожает кумыс!.. Поехали!..

* * *

У Ирмисхеви его настигли сумерки.

Он соскочил с попутной машины и с легкой сумкой пошел к Ирмиси, как некогда, возвращаясь с войны. Не спеша шел он по своей земле, медленно привыкая к возвращению.


Думал ли он о чем-нибудь?

Нет.

Остановился на мосту. «Наши умельцы чеканили эти орнаменты», — подумал он.

Уже вспенилась Ирмисхеви, а он и не заметил этого, хотя и прошел весь путь с самых истоков высоко в горах...

Вот и пойма. Ограда вдоль молодого виноградни-



ка густо заросла шиповником. Роняет радостные слезы лоза¹, выросли фруктовые деревья, и где-то в зелени мелькают маки...

Сумерки сгустились.

По обоим берегам реки ярко засветились светлячки, и взгляд его, опережая мысли, перебегает от дома к дому, заранее зная, в каком доме сейчас вспыхнет светящаяся точка...

Вот отчетливо обозначились силуэты холма и разбитого молнией дуба, и слышится Алекси мерный стук старой мельницы. Толстые свежие бревна подпирают ее покосившиеся стены.

Тсс, тише, чтоб никто не услышал зова, рвущегося из груди. Чтоб никто пока не увидел его. Он пока не может говорить. Здесь, возле ивы он передохнет. Как она выросла... Тише, сердце, дай послушать, в ее теле тоже уже бродят соки жизни. А вот под ветви той старой ивы, как в шалаш, любят забираться ребятишки, вылезая из студеной Ирмисхеви. Здесь на согретом солнцем песке любит кувыркаться Сандра...

И вдруг все пространство до самого поднебесья заполняется криком:

— Па-ап!.. Па-а-ап!..

«Не сдержал слово шофер», — успел догадаться Алекси и грудью ощутил колотившееся сердце Сандрика. Предательская слеза упала на каштановые волосы мальчика...

А потом упала завеса, застилавшая ему глаза, и он увидел: разгоняя сумерки, идет Ирмиси к Ирмисхеви. И слышит голоса ирмисцев:

— С возвращением тебя, Алекси!

— Алекси!

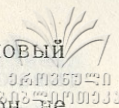
— Алекси!..

* * *

Красив наполненный солнечным светом новый дом. С балкона видны дальние горы и ранний рассвет, видны Алазанская долина и белоснежный Алаверди.

В новый дом все идут и идут гости: соседи, друзья, односельчане, люди из ближайших сел, старые и

¹ Ранней весной лоза источает капельки сока, похожие на слезинки.



малые. Кто знает, кто с какой ноги вступает в новый дом?!¹

На Сандрика никто не сердится за то, что он не ходит в школу, не ложится вовремя спать. И на улице его не видно. Шестнадцатый год пошел мальчику, вырос, вытянулся. Чуткий и впечатлительный, он с трудом приходит в себя от радостного потрясения. Он все не может поверить в то, что отец вернулся навсегда и никуда уже не уедет.

Далеко за полночь, как всегда, покидают дом Нико Хелашвили и Важа Кверенджадзе.

— Значит, завтра к десяти часам жду тебя! — напоминает Важа, прощаясь с Алекси.

— Не завтра, а уже сегодня, — смеется Нико.

— Да, да, уже сегодня, — радуется Алекси.

Да, сегодня он поедет в Дариани к секретарю райкома! Так радостно на душе, что даже грешно спать. Но отдохнуть надо. Вот только взглянет на сына... Сандра спит, широко раскинув руки, между бровями застряла упрямая складка. Смешно, до чего у него озабоченный вид... А как он горячо и убежденно отстаивает свое мнение, какую независимость проявляет и в поведении и в суждениях! Воображает себя взрослым, а сам, как махонькая трепетная пташка... Эх, грешно не грешно, а немного поспать ему надо; не где-нибудь, а в райкоме, с Важа Кверенджадзе предстоит с утра разговор о серьезных делах!

Алекси вошел в спальню. «И Хатула уже уснула. Устает она, целый день на ногах...» — подумал он, бесшумно разделся и осторожно скользнул в постель.

Хатула не спит, она лежит с закрытыми глазами и старается отогнать от себя преследующее ее, как навязание, бледное, безжизненное, словно маска, лицо Рамаза Мелитаури.

— Хато, что с тобой? — спросил Алекси, ласково дотрагиваясь до ее руки.

— Почему ты спрашиваешь? — тотчас откликнулась она.

— Ты стонала...

— Тебе послышалось.

¹ В Грузии существует поверье: входя в дом впервые, одни могут принести счастье, другие — горе.

В тишине стенные часы, как пульс времени, отсчитывают уходящие секунды.

— Тебя что-то беспокоит, — сказал он, потеряв счет секундам.

Хатула не ответила.

Алекси стало холодно.

В открытое окно ломилась ночь. Тишина и ночь заполнили комнату. Они мешали Алекси. Он встал и выпил воды. Нечаянно стукнув стаканом о блюдце, вздрогнул и прислушался. Из комнаты Сандра не доносилось ни шороха. И Хатула не шевельнулась.

«Даже не слышала», — подумал он, плотно прикрыл ставню и снова лег. Хатула показалась ему далекой-далекой. Теперь ему мешала закрытая ставня, не хватало воздуха.

— Всю жизнь ты тащишь на себе чужие ошибки... — проговорила Хатула, будто продолжала начатый ранее разговор.

Алекси насторожился.

— Всю жизнь ты несешь бремя подлости других...

Что-то стало проясняться. Алекси ждал.

— Иной не выдерживает расплаты даже за одну свою собственную ошибку...

Что-то надвинулось.

«О ком ты? О ком?» — так и не спросил Алекси.

— Ты виноват передо мной...

«В чем? В чем?» — опять беззвучно спросил Алекси.

— Приучил меня к ненужной откровенности, невыносимой честности и...

«Что ты хочешь сказать? Нет! Не говори! Не надо! Не надо!» — напряглась у Алекси шея от беззвучного крика.

— Приучил меня к добру, к человечности, к сочувствию и к прощению...

«Прощение — помилование — амнистия. Амнистия — это прощение нарушения писаных законов. Нарушение неписаных законов не наказуемо, и прощению не подлежит!» — отчеканилось у Алекси где-то в сознании.

— Увидела человека, охваченного неизлечимым недугом, и от сочувствия к нему хотелось плакать, и я простила...

«Кого? Кого? Кого?» — опять беззвучно закричал Алекси и весь напрягся.

— Самым тяжелым недугом расплачивается. Одиночеством. И не выдерживает расплаты. Тебе одиночество неведомо. Это делает лицо человека похожим на маску, молящую о смерти...

Ночь взломала ставню. И Алекси стало страшно.

— Ему нужна ты? — выдавил он из забитой польню глотки.

— Не столько я... Сын.

— Сын?

И Хатула увидела: глаза Алекси сверкнули близко, почти у ее лица. И она услышала:

— Ты права, Хато, тяжело таскать на себе чужие ошибки и подлости. Теперь я хочу избежать той одной капли тяжести, которая застряла на грани моей выносливости. Ты не досказала, но не надо. Я верю тебе. Будь ясной и правдивой до конца, каким бы ни был конец. Мне страшнее всего был бы смешной конец наших взаимоотношений. Моя терпимость далека от христианского всепрощения...

Глаза сверкнули возле дверей. И дверь тихо скрипнула.

* * *

Предрассветный холодок обступил вышедшего из комнаты Алекси. Он глубоко вдохнул прохладный воздух и черная сатиновая рубашка плотно натянулась на его широкой литой груди. Он прислонил голову к столбу сводчатого балкона и устремил вдаль взгляд своих глубоко сидящих карих глаз. Там все еще была ночь, но он видел ломаную линию надвинутых друг на друга высоких горных гряд. И в самую темную ночь разглядел бы он их — так знаком был ему этот узор. На вольно раскинувшейся Алазанской долине вырисовывались очертания храма Алаверди, и тьма, отпугнутая белизной его стен, бессильно противилась рассвету, побледневшая, немощно цеплялась за села, плетни и изгороди, за дома, деревья, кустарники.

Где-то резко прокричал петух. Петушки с неокрепшими голосами спросонья перекликнулись с суматошным вестником рассвета и снова задремали.

Где-то залаял пес, но тут же оборвал себя и с беззловобым урчанием вновь погрузился в сон.

В ветвях тополя сонно каркнула ворона, но, видимо, и ей показалось, что еще слишком рано, и она юркнула обратно в свое гнездо.

Все было так, как и должно быть. Весь видимый мир был объят мирным сном. Алекси не спеша спустился по лестнице, пошел по тропинке, черно поблескивающей между рядами молодых лоз. Заметив упавший на землю безжизненный листик, он нагнулся и поднял его. Ему казался знакомым этот листик, беспечно шелестевший на ветке платана...

Шепот прервал его мысли. К шепоту примешался легкий звон и тихий, переливчатый смех, и Алекси понял — родник разбил свои оковы. Узенькие струйки, пробивающиеся сквозь трещины истонченного льда, словно гномики в хрустальных сапожках, шаловливо скользили с камня на камень, с камня на камень, и исчезали за поворотом. Вдоль родника из-под потемневшего ноздреватого снега пробились подснежники. Подснежники!..

Он мокрым песком потер крупные жилистые руки, зачерпнув пригоршнями воду, ополоснул лицо, влажной рукой провел по густым седеющим волосам, по шее, по открытой груди и разогнулся. Постояв, пока ветерок обсушил его покрасневшую кожу, он пошел дальше.

Вскоре, оставив в стороне большак, сокращая путь, он начал подниматься по склону холма. Так будет быстрее. Он знал, что никто и ничто другое, только время отсчитывает дни между жизнью и смертью, а смерти он не хотел уступать ни один миг своей жизни...

Дойдя до разбитого молнией любимого дуба, стоявшего на вершине холма, он остановился возле плоского камня и обернулся.

Рассвет, испещренный золотистыми нитями, светясь и переливаясь, как образ из цветной перегородчатой эмали, озарил храм Алаверди.

Бездонный и беспредельный, нерукотворный и недостижимый образ требовал поклонения. Вероятно, далекие-далекие предки передали Алекси вечную тягу к красоте, иначе откуда же в нем все это: с самых первых мгновений восприятия внешнего мира и позна-

ния своего внутреннего мира, в детстве — по-детски, в юности — по-юношески, в зрелости — по-мужски, он молча и незримо исповедовал религию красоты.

И сейчас... Словно высеченное из простого серого камня лицо со скорбными складками вокруг губ и с рваным рубцом на виске, все крупное тело его — мужественное и истрадавшееся, и душа его — сильная, нежная, добрая и свободная, в безудержном порыве устремились туда, где в священном таинстве рождался новый день...

«Лишь красота может приобщить смертного к вечности...» — мелькнула у него мысль, оборвавшаяся от зова, вспоровшего тишину.

— Па-ап!..

Пулей обжег его этот зов. Он не должен отозваться, не должен, нет, иначе это будет той самой последней гранью выносливости, за которой уже ничего нет... Плотно сомкнув губы, он опустил на камень.

— Па-ап!..

Приблизился зов, а вслед за ним появился Сандра, еле переводя дух от бега.

— Без тебя я ни разу сюда не поднимался, а почему ты пошел сюда без меня? — нахмурив лоб и в упор глядя на отца серо-дымчатыми глазами, сказал он. И твердо добавил: — Если даже тысячи всяких «отцов» объявятся, мне нужен ты, только ты. Как ты, взрослый человек, не понимаешь этого?

Сандра уселся на камень, рядом с отцом, подобрал ноги, обхватил руками колени и, любясь порозовевшим узором горных вершин, тихо произнес:

— Мне нужен только ты. Я хочу быть, как ты, чтобы и меня звали Гонджаура... — И помедлив, он, как некогда Алекси непоколебимо повторил отцу: «Я не уйду отсюда», повторил: — Хочу быть Гонджаура!.. Почему ты молчишь, скажи мне что-нибудь!

Алекси молчал. Потому что, неотрывно глядя вдаль, он видел:

Солнце выхлестнуло из-за гор легионы лучей. И в заалевшем пространстве эти бесчисленные лучи мальчишками и девчонками устремились к разбитому молнией дубу, неся с собой новый день. И вела их та, которая в огненном грохоте одной из пройденных им жизней появилась над трясинной, как богоматерь с мла-

денцем на руках... Сейчас чудесное это видение подтверждало всю праведность пройденного им жизненного пути, и от радости боль терзала его сердце, и он не мог говорить...

— Па-ап, верь мне, я обязательно буду, как ты, буду Гонджаура! А ты все молчишь. Почему ты молчишь, почему?

Молчал Алекси. Потому что сердце его не смогло справиться с великой радостью...

1964 г.

Алазанская долина — Тбилиси.

Перевод с грузинского.

ХРОНИКА

ВЕЧЕР ПАМЯТИ НОДАРА ДУМБАДЗЕ

В Московском Доме литераторов состоялся вечер памяти выдающегося грузинского писателя Нодара Думбадзе.

Вечер вступительным словом открыл председатель совета по грузинской литературе при Союзе писателей СССР поэт Е. Евтушенко.

С теплыми воспоминаниями о грузинском друге выступили известные писатели, редактор журнала «Знамя» Г. Бакланов, заместитель редактора журнала «Дружба народов» А. Руденко-Десняк, секретарь правления Союза писателей СССР, редактор журнала «Огонек» В. Коротич, критик Е. Сидоров, грузинские писатели Г. Цицишвили, Ч. Амирджиби, А. Сулакаури и другие.

В заключение был показан новый полнометражный

фильм «Нодар Думбадзе», прошедший с большим успехом.

На вечере присутствовали секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. Ментешашвили, секретарь ЦК Компартии Грузии Г. Енукидзе, постоянный представитель Совета Министров Грузинской ССР при Совете Министров СССР Н. Медзариашвили.

ПРЕМИЯ ПРИСУЖДЕНА

«Двадцать стихотворений Галактиону Табидзе» — так назвал сборник своих лирических произведений Ираклий Абашидзе.

За создание этого поэтического сборника, выпущенного в свет издательством «Мерани», жюри по присуждению премий имени Галактиона Табидзе Союза писателей Грузии премией за 1986 год наградило Ираклия Абашидзе.

С болью и надеждой— господину Рейгану

Мотивы апокалипсиса

Во мраке туч,
 подобном ночи,
Враждой и горем,
 печалью черной
Закрыто небо:
И чайкам смерть
 во тьме крошечной,
Смерть человекам
 в ядерной зиме,
Цветам земным
 и листьям древа
Смерть!..
К планете маленькой,
 погибшей во вражде,
Из глубины
 космических просторов
Гу-уди-и-ит
 Др-рожи-и-ит
Тремоло-бас —
 Вселенной голос,
Во знак
 Земли кончины...

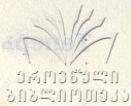
.



Быть может, **смерть моя —**
Материя **иная форма —**
Оставит лишь **единственный фотон —**
Квант света **для души потомков,**
Блик мимолетный, **преданный забвенью.**
Но я, и тленный, **быть хочу засыпан**
На Земле землею,—
Не тенью атомной, **оставшись у порога.**
Да, на Земле! **На этой Родине людей,**
Где и моя **родная деревушка.**
Люблю ее **простой**
сыновнею любовью,
Как мать свою, **покойницу, любил...**
О, кровь?! **Мою?!**
Возьмите!
Жизнь?! **Отдам без слов.**
Но только **МИР спасите,**
РАЗУМ **сохраните,**
люди!
Быть может, **он неповторим**
В бескрайности **Вселенной,—**
Великий разум.

* * *

А Вы?..
Что ж Вы-то, президент?



Отринули

протянутую
руку мира?

Или от бога

отреклись
от своего,

Тельца

златого
возвеличив?

Я — не пророк,

но если... если...

Ненависть

слепая
победит

И ночь

покроет
всю планету,

Не миновать и нам

тогда
страданий

В той

апо-кали-псической
раз-ру-хе,

Когда не будет

даже и пингвинов...

Пройдут потом

безлюдно
миллионы лет...

Мильоны лет —

до обезьян
или уродов...

А в настоящей

жизни
мимолетной

Бедой

и жутью
веет от планеты.

...Не Понтий ли Пилат,

умывший руки,

Знал

о приготовленном
кресте?

Теперь готов

гигантский

крест ракетный,

Для душ распятыя

крест,

воздвигнутый до неба...

Взорвется и...

Никто

и рук умыть

не сможет —

Погибнет

и Пилат,

погибших прокуратор.

И не спасут

ни бунгеры, ни банки,

Или за правду

выданная ложь

Под блестками

сиянья золотого;

Ни прошлых почестей

аплодисменты,

Ни власть,

ни пост,

ни чин,

Ни прочие

земные атрибуты —

Нет, не спасут...

Страшней

«Комедии божественной»

Погибель

атомная наша —

Моя и Ваша,

президент,

В тоске

разрушенного мозга:

Не надо будет

нам тогда

И трех шагов

могилы тесной,

Ни черных роз —

эмблем печали

В аду

безумного

страданья.



Не знал

Великий Данте

Ни атомов,

ни изотопов...

А Вы прислушайтесь:

Др-рожи-и-т

тремоло-бас в ночи —

Чернобыля сигнал,

взывающий о мире,

Чернобыля —

попыни

горький запах¹.

Десятки тысяч

Хиросим,

Как адский груз

в груди Земли,

Готовый к взрыву,

гр-рози-и-ит

Геены огненной

преддверьем.

Сто пятьдесят

земных шаров

Возможно уничтожить

в одночасье

Припасом дьявольским

ракет и бомб!

Сто пятьдесят смертей

кормилицы-земли

На крошечной

уже истерзанной

планете.

Сто пятьдесят!!!

Мой мозг горит,

остановившись

Пред ужасом

грозящей

бездны ада...

Луну,

¹ Чернобыль в переводе с украинского — польнь.

наш вечный
Серебряный, спутник,
любимый человеком
свет,
Ракетами взорвать —
раз плюнуть.

Недостает
лишь только
Герострата,

Предавшего огню
Эфесский
Артемиды храм.

А может, он,
уже готовый,

Шипит в тиши:

«Я — первый

Кнопку надаваю.

Я — первый на века».

И ждет он «славы»

в звездных войнах.

О, президент!

Грядущее

теперь уж

не в тумане:

На самоубийства

границ

человек,

А мозг

погибнет

первым,

Погибнет Разум —

природы

высочайший дар.

Вы слышите

тоскующий гобой

И голос неба

контрабасный

Над нашею

Землею голубой —

Единственной такой

в галактике

небесной?



„Она, Земля,
пока живет.
Живет
в программе гена,
Живет,
прося пощады
у тех,
Кого родила,
вознесла.
Прислушайтесь,
пока не поздно,
Пока не вырвалось
проклятье
От всех живущих
в едином доме
С адресом — «ЗЕМЛЯ».

* * *

Мы все равны:
Вы, президент,
крестьянин и рабочий,

И я,
один из миллионов тех,

Кто слышит
стон Земли,

Кто вместе
с Родиной моей

Протягивал Вам
руку мира, —

Все равны.
Она, рука,
еще пред Вами,

Как этот стих,
не скованный
цепочкой рифмы,

Мой белый стих
о ночи черной,

Кровью сердца
окропленный...

И вот, —
теперь уж долгожитель, —

Взываю

этим сердцем
к Вам:
Собака ведь
и та — друг человека,
Ужели человек—
не брат Земли другому?
Ужели же
борьба идей
Решится
атомным разгромом —
Нелепою
кончиною землян?
Возможно ли,
что человечество
Само себя
сотрет
с лица планеты?
Возможно ли
в наш век ученых
Жить по пословице
наивной старины:
Бог не допустит —
и свинья не съест?
Предвосхищу
вопрос
уместный:
Вы
в бога верите ль,
писатель?
Мой бог — природа,
президент,
Хранитель-ангел —
наша совесть.
Я повторил
три слова Леонардо,
Что родом
из Италии,
из Винчи,
Великого из гениев
строку
И человека-чудо.
Пусть

вера разная
у нас
И разные
в мечтах
идеи,
Но ведь
похожий стук
сердец —
И в радости,
и в восхищеньи,
В беде
и в горе,
и в надежде светлой...
О, нет и нет!
Мы — не «Цари природы»,
Давным-давно
уж не Цари,
Но — не рабы ее,
а сыновья:
Наш долг —
спасти
родную Землю,
Уже израненную Мать
и оскорбленную
Делами
сыновей
и словом.

* * *

Борьба
Добра и Зла
пришла к финалу:
То — Разума
с Безумьем
бой,
Последний бой!
Прислушайтесь!!!
В бурлении
протеста
мирового
Планета требует,
кипит!..

И плачет мать
над колыбелью
Рожденного
для смерти скорой,
может быть.

И содрогнулся
шар
земной

От бурь
сердец
бниеня,

От боли
за судьбу
детей

Пред адом
ядерных
мучений.

Еще не поздно,
президент,

Не дать
гореть
Земле

И умереть
замерзшей:

Рука Добра
протянута пред Вами...

Игра
словесных
упражнений

Перед великою бедой
прошла:

Ударил
колокол
планеты

Российским
звоном
вечевым!

И пробил час
для выбора
ответа:

Согласье
двух держав,
судьбой великих,



Иль человечеству —

последний

страшный срок?..



Ответа делом

требуют народы,

Готовые

к борьбе

за жизнь.

Так воины

в пустыне жаркой,

Мечтая

о глотке

воды,

Оружье

не бросают

и знамена.

Я это

из России

говорю,

От старшей

из сестер —

Пятнадцати

республик

равных,

С приветом,

болью

и надеждой...

Воронеж. 1986.

НОВЕЛЛЫ

Вопросительный и восклицательный знаки

Пусть никто не утверждает, батано, что знает людей. Человек иной раз такое выкинет, что и сам потом не разберется, зачем и почему так поступил, а уж другой и подавно не поймет. Потому, знаете, я ничему на свете уж не удивляюсь. Наперед не угадаешь, как себя поведет и что сделает твой приятель. Вот, к слову сказать, был я недавно в суде, слушал дело моих хороших знакомых. Ну, они такое там наворотили, чего не только никто от них не ждал, но, когда читали обвинительное заключение, мы своим ушам верить не хотели. Юрист, скажете вы, юрист-де разбирается в людях, уж он, юрист, знает что к чему. Нет, батано, и тысячу раз нет: юрист — такой же человек, как и мы с вами. Заглянуть на самое донышко души человеческой, в сокровенные ее тайники, ему не дано, да и времени у него на это нет. Уж вы мне поверьте, ни один ясновидец не проникнет в дебри души сына Адамова. Следователь — тот вооружен фонарем закона и якобы высвечивает им потайные стежки в этой самой душе, да только дальше того, что закон предусматривает, он шагу ступить не может, законом он ограничен и связан. А ведь действия и поступки человеческие отнюдь не всегда можно свести к закону либо беззаконию! Человек, батано, существо непостижимое, запутанное, неразгаданное. Да, еще вот психологи предъявляют претензию на знание психики, души, значит, только пустое это, не верьте, ничегошеньки они в том не смыслят. Иные из них утверждают, будто действиями человека

управляет инстинкт, другие кричат — нет, мол, не инстинкт, а разум, разум всему начало, а третьи заявляют: и разум, и еще — ген. Вот оно как. Но ведь бывают поступки, которые не подчиняются никакой логике и мотивы которых никак не понять. Если брать в общем, абстрагированно, то еще куда ни шло, вроде бы можно все определить да по полочкам разложить, а когда дело доходит до конкретного, запутываешься и мечешься, чтомышь в мышеловке. Эх, чего уж там о других говорить, других разгадывать, я вот расскажу вам о себе. И если хоть в малости совру, пусть мой враг пулю в лоб получит.

В ту пору, когда случилась эта история, мне было чуть меньше тридцати. Известное дело, человек в этом возрасте уже не ребенок. Жил я вверху, знаете, на улице Урицкого, снимал комнату в доме сапожника Джикиа, а работал в Мцванэквавила¹, на кирпичном заводе. Комнатенка была у меня крохотная, я ведь женился поздно, тогда еще в холостяках ходил, да и в средствах нуждался, потому платить стремился как можно меньше. Ну, комнатенка хоть и крохотная, а с окном на улицу, солнечная и сухая... Да и ни к чему была мне большая комната. Жестяная печурка в самые жестокие холода сразу ее согревала, а в летний зной я почти все вечера на Риони проводил, плавал, плескался, прохлаждался, словом. Зимой же, бывало, прибегу с работы, растоплю печку и завалюсь в постель — наслаждаюсь теплом и отдыхом.

В один прекрасный вечер — как вчера помню, был по-старому Новый год — сижу я у печки и слушаю гудение огня. А на дворе холодно, северный ветер гуляет. Вдруг стучится кто-то в мою дверь. Еще не очень и поздно было, только недавно стемнело. Зимой, сами знаете, не успеешь оглянуться, уже темно. Кто бы это мог быть, думаю. Однако, в отличие от других, которые вечно спрашивают «кто там», я никогда этого не спрашиваю. Бог свидетель, хорошо оно или дурно, а я, когда ко мне постучат (вот и сейчас, уже в солидном возрасте будучи), безо всяких иду к дверям и открываю. И вот, значит, открыл я дверь, а на пороге — участко-

¹Мцванэквавила — один из пригородов Кутаиси и там же — церковь.

вый наш, Моргошиа. Круглолицый такой, плотненький, улыбочивый парень. Мы с ним раза два беседовали. Первый раз он ко мне явился, когда я только поселился в этой комнате, записал кто я, что я, потом мы с ним распили кувшинчик цоликаури и расстались, весьма довольные друг другом. С тех пор мы очень приветливо здоровались при встрече, только и всего. Что его привело, какое такое дело у него ко мне, подумал я.

Моргошиа раскрыл свою папку, вытащил какую-то бумагу и молча эдак протягивает мне. В чем дело, говорю. А сосед жалуется. Который еще сосед, что за сосед, чем я кому не угодил? Живу себе тихо, мирно, как все равно букашка...

Начал я читать эту жалобу, и аж пот меня прошиб. А как до конца дочитал, уж не знал что и сказать-то. Сперва смех на меня напал, потом, глянув на Моргошиа и увидев его необычно серьезное круглое лицо, я попытался тоже серьезный вид принять, да никак губы собрать не мог — все в улыбку растягивались.

Как вы думаете, в чем я обвинялся?

За стеной, во второй, соседской половине дома проживал некто Уча Чумбуридзе. Как и я, человек одинокий. Тогда ему было бы лет пятьдесят с небольшим. Не знаю, жив ли он сейчас... Это был приземистый толстяк с большой головой и огромной родинкой на лбу. Кажется, он был шапочником. Из дому выходил крайне редко. Я, сколько там жил, ни разу еще с ним не разговаривал. Никакого дела ни я к нему не имел, ни он ко мне. И вход на ту половину дома был с другой улицы. Наш двор, надо сказать, был перегорожен надвое: мой хозяин и этот самый Чумбуридзе построили дом на половинных началах, потом между ними ссора вышла и они не разговаривали друг с другом. И вот Чумбуридзе-то и жаловался на меня: дескать, такой-то и такой-то (оказывается, и имя мое знал, и фамилию, и где я работал!) среди ночи забирается на чердак, перелезает на мою стороны, отодвигает крышку чердачного люка и глядит оттуда ко мне в комнату. Прошу выяснить, обращался он к милиции, чего ему от меня надо.

— Он что, крепко чокнутый, а? — спросил я Моргошиа. — Только мне и заботы, что на его родинку

глядеть, даже на чердак ради этого лазаю, да? Надо же, чушь какая!

Моргошиа, тем не менее, осмотрел мою комнату, тем вышел в галерейку, уставился на потолок и — где, говорит, тут на чердак выход? Почему я знаю, — говорю, нахмурившись, — чего мне на чердаке делать, или я трубочист? Полоумный Чумбуридзе невесть что сочиняет, а ты, Моргошиа, уж и вправду меня проверять вздумал, что ли? Да нет, говорит, это я просто так, для себя интересуюсь, должен ведь я разобраться в деле, чтобы растолковать человеку, что это ему во сне при-виделось.

Ну, ладно, спустились мы с ним во двор, там вдоль глухой кирпичной стены дома железная лестница вела на мансарду. Сказать правду, я ее раньше и не замечал, лестницу эту. Значит, в этакую холодину, в ночь, я должен был выйти во двор, подняться по железной лестнице, в потемках, заметьте, на мансарду, оттуда по жестяному желобу добраться до Чумбуридзева чердака, залезть туда, отыскать крышку люка, сдвинуть ее и — созерцать испещренную угрями дурацкую физиономию шапочника!..

Моргошиа, как заправский детектив, детально все осмотрел и на чердак со мной взобрался, карманным фонариком путь освещая, и, убедившись, что там не только за последние дни, но и за последнее пятилетие ничья нога не ступала (пыль кругом — в палец толщиной, пройди кто-нибудь, остались бы следы не хуже тех, что оставили на Луне Армстронг и его коллега), молча спустился со мной обратно.

— Черт бы побрал этого Чумбуридзе, — проворчал он, когда мы, наконец, стояли на земле. — Заставил пыли наглотаться! Его фантазий мне не хватало! Ну, ладно, ступай и спи себе спокойно. Я ему вправлю мозги, будет знать, как напраслину на человека возводить.

От семейства моего домохозяина, разумеется, не укрывшись визит ко мне участкового. Все они дружно высыпали на балкон и молча, сосредоточенно наблюдали за нашей прогулкой на крышу. Слышали они и заключительную речь Моргошиа, однако вошли в дом, ни слова не сказав, ни о чем меня не спросив. Видать знали, что за фрукт разлюбезный соседка.

Моргошиа тем временем вышел на улицу, обогнул наш двор и вошел в калитку Чумбуридзе. Не знаю, о чем они говорили, только Моргошиа долго оттуда не выходил. Я было собрался улечься спать, как вдруг услышал громкие голоса. Открыл окно, прислушался.

— К врачу тебе надо идти, к врачу! — раздраженно говорил Моргошиа.

— К врачу мне ходить незачем! С больной головы да на здоровую! Ты брось такие речи вести, не то погоны свои потеряешь! — не сдавался Уча.

Моргошиа стоял посреди двора.

— Что я могу ответить, связываться с тобой я права не имею, я здесь на работе! Язык-то без костей, сказать все можно, однако оставь ты его в покое, ему своих забот хватает, еще твои причуды разбирай. Никакого дела ему нет до твоего потолка, — очень разумно отвечал ему Моргошиа. На том и кончилось — участковый ушел.

Наутро я, как всегда, отправился на работу и, честно говоря, позабыл об этой истории, не придав ей особого значения. Ну, думаю, бывает, померещится человеку что-то несуразное, а может, настроение у него было дурное, мало ли. Бог с ним.

Прошел день, на второй день тоже ничего. На третий, только стемнело, снова является Моргошиа.

— Мы твоего соседа еле-еле утихомирили, — говорит Моргошиа. — Пришел сегодня после обеда и утверждает, что вчера ты дважды к нему с потолка заглядывал. Я было заикнулся о привидениях и сновидениях, но он так рассвирепел, ты, говорит, за сумасшедшего меня принимаешь, за психа, а я с ним (с тобой, значит) вчера друг на друга глядели, как мы сейчас. Чего, говорит, ему от меня надо, чего он меня рассматривает. Если, говорит, я псих, почему ничего другое мне не кажется, почему я на улице на людей не кидаюсь, а? Вот уже четвертую ночь он в мою комнату с потолка пялится, покоя мне от него нет. Тут я ему говорю: заколоти ты эту проклятушую крышку и конец, будет тебе покой. Уже заколачивал, говорит, да он отодрал! Как мне от него избавиться — ума не приложу. Да ведь он не птичка, не летает же, говорю, как же он следов нигде не оставляет? Только Чумбуридзе ничем не пронять, твердит свое, и ты хоть лопни, —

торопливо, чуть не задыхаясь, рассказывает Моргошна, тараща глаза и раздувая щеки.

— Как же мне теперь быть? — спрашиваю.

— Напиши, что Чумбуридзе на тебя клеветает, что ты и в мыслях не имел на чердак лазить, что ты к нему относишься хорошо, по-соседски. Что ничего дурного против него ни в голове, ни в сердце не держишь, и за все время, что здесь живешь, вы с ним друг другу ни полслова худого не сказали, — посоветовал мне Моргошна.

Я все так и написал, как он велел. Моргошна забрал мое заявление и ушел. А я, даже не поужинав, улегся в постель с мыслью, что если я завтра чего-нибудь не придумаю, бесноватый Чумбуридзе вконец меня затюкает.

И вот именно тогда произошло во мне то необъяснимое и невероятное, ради чего я и стал рассказывать вам эту историю.

Лежу я, а сна нет, что сон — дремота и та меня не берет. Верчусь с боку на бок. И все маячит передо мной постное лицо Чумбуридзе с отечными глазами и этой самой родинкой на лбу.

«Что ему от меня нужно, — думаю, — чего он привязался, да еще такую чушь порет. Без сомнения, ему что-то мерещится, но при чем я! А что, если пойти сейчас к нему и сказать — давай поговорим по-мужски, без всяких-яких, что ты против меня имеешь, почему такой поклеп на меня возводишь... а вдруг он решит, что я нападение на него устроил, крик поднимет или, того хуже — огреет меня палкой по голове? От подобных типов чего угодно жди. А если я на него пожалуюсь? Скажу — клеветает на меня, житья от него нет. Эх, неизвестно, что за этим последует... дело-то уже начато, Моргошна меня знает, а новый следователь как начнет допрашивать да выспрашивать, кто такой, почему приехал, сколько за комнату платишь... ни мне, ни Джикни все эти расспросы совершенно ни к чему... А хотелось бы знать, чем занимается по ночам этот чокнутый шапочник, почему так боится, чтоб его увидели? Нет, тут определенно дело нечисто, не иначе. Вот мне, например, все равно, пускай кто хочешь ко мне заглядывает. Абсолютно меня это не тревожит. Интересно, спит он сейчас или нет? Небось, сидит и на по-

толок тарашится. Вот бы вправду заглянуть к нему, какое у него при этом лицо будет?»

Не помню, как я вскочил с кровати, оделся, как вышел во двор. Я был одержим непреодолимым желанием заглянуть с потолка в комнату Учи Чумбуридзе, увидеть его растерянную физиономию и узнать, что же он делает по ночам. С большим трудом поднялся я по железной лестнице, крадучись, как кошка, перелез через мансарду на Чумбуридзеву половину крыши, проник на чердак, ощупью отыскал крышку люка и, отодвинув ее, в тот же миг встретился с выпученными глазами обезумевшего шапочника и услышал нечеловеческий вопль:

— Моргошиа, спасай!!!

— Я здесь! — гаркнул чуть не над самым моим ухом Моргошиа, а следом — Уча торжествующим голосом:

— Что, и сейчас мне кажется? Опять скажешь, что мне сон снится?

Потом по чердаку забухали, загрохотали шаги, в спину мне засветил фонарь, и я услышал голос Моргошиа:

— Не шевелись, стрелять буду!

После короткой паузы участковый повелительно произнес:

— Вылезай на крышу, спускайся по лестнице, жду тебя внизу!

Только когда я, пристыженный, обескураженный, спускался по лестнице, до меня дошло, что я натворил. До тех пор мной управляла какая-то неведомая, неодолимая сила.

Внизу меня встретили Моргошиа, все многочисленное семейство моего домохозяина, Чумбуридзе с чугуновой сковородой в руках и милицейская машина.

Первое мое показание оказалось настолько сумбурным, путаным и сбивчивым, что сам Господь Бог не распознал бы, чего я хотел на чердаке. Потом кто-то сжалился, надоумил: скажи, что шутки ради, что просто напугать его хотел. Короче, дело мое было передано товарищескому суду. Меня оштрафовали на пятьдесят рублей и взяли подписку в том, что впредь никогда не позволю себе подобные «шутки».

Мое дальнейшее пребывание в том доме, разумеет-

ся, было немислимо. На следующий же день я собрал свои манатки и рассчитался с хозяином. А месяца через два распрощался и с кирпичным заводом и переехал на жительство в Ткибули.

Перевод Камиллы КОРИНТЭЛИ

ИДУЩИЙ ВПЕРЕДИ...

— Почему я улыбнулся, как ты думаешь? А потому, братец ты мой, что не смог скрыть своей радости. Когда ты пришел, сел передо мной на табурет и умоляюще произнес: «Растерялся я, дядя Эпифанэ, помоги, научи, как жить», — я, признаться, испытал чувство гордости: хоть одному да понадобился мой жизненный опыт. Не скрою, с такой просьбой ко мне еще никто не обращался. Все так усердно, так уверенно обделывают свои дела, что убеждаешься: каждый знает, с какой стороны подступиться к колесу жизни и как крутить его.

Я разменял уже семьдесят весен и оставшиеся считанные дни, стало быть, должен беречь как зеницу ока. Жил я, как мог, правда, особыми успехами не похвастаюсь, зато и плохого обо мне никто не скажет. Бездельником и лодырем не был и теперь не хочу бездействовать, лежать недвижно, как шелкопряд в коконе. Пока что я сам зарабатываю себе на кусок хлеба и презираю нытиков. Пришло время моей старости, и никто в этом не виноват. Так что не имею я права ложиться бременем на плечи других. И уйду из жизни тихо, родных и близких я уже предупредил: не надо рыдать над моим гробом, не то вскочу и надаю всем палкой по одному месту. Все мы — гости на этой земле, свою пашню я уже пропахал, землей был и в землю обращаюсь. Посадят на моей могиле розовый куст, или взойдут на ней плевелы — ничто не изменится в этом подлунном мире. Все, закончилось мое скитание, теперь — черед другого.

Скажи, разве это не чудо — столько людей от сотворения мира до наших дней перебивало на земле, и

жизнь одного ничуть не походила на жизнь другого. Природа отвела каждому свою тропинку. И чья фантазия повыдумывала столько разных вариантов жизни. Ты задумывался над этим? Вот ты спрашиваешь у меня совета, как жить, а я ведь знаю, что ты спрашиваешь так, без надобности, просто ради того, чтоб подбодрить меня, чтобы я думал, что я еще нужен кому-то... Ты ведь знаешь не хуже моего, что мои жизненные уроки тебе не пригодятся, тебе жить в другое время, среди других людей, идти по другому пути. Будь это не так, жизнь потеряла бы всякий интерес. На огромной шахматной доске планеты у каждого из нас — шахматных фигур — свой ход, у каждого — своя судьба.

Не дай бог испытать тебе то, что пришлось испытать мне, а хорошего пусть будет в обилии, как песка — в пустыне. Я сказал, что жить тебе в другое время, однако не думай, что тебя ждет розовый дождь и колесо судьбы будет крутиться так, как ему положено. Далеко, ох как далеко до этого! Люди все еще не научились жить. Ни раньше не умели, ни сейчас. Человек тридцатого столетия, я уверен, снисходительно улыбнется над тем, что нас волновало, печалило или же радовало. Странное было время, скажет он, как же у них были устроены мозги, если они могли вытворять таксе? Не думаю, что человек будущего окажется намного умнее нас, но хочу верить, что он не будет столь искусен в каверзах, в желании напакостничать другому. Да, да, мы жили бы гораздо спокойнее и лучше (да будут продлены твои дни), если бы больше дорожили друг другом. Мне порой кажется, что это только наше время так безрассудно, а в другие эпохи люди отлично знали, почему они появились на свет и что им следует делать. Но нет, не было так — никогда не знали и сегодня не знают, хотя человек никогда не был так умен и опытен, как в наше время. Когда же окидываю мысленным взором свой жизненный путь, не вижу ничего, кроме обещаний и ожиданий. Много воды утекло, но я так и не дождался того, чего ждал все эти годы. Сегодня мне кажется (может, в этом и старость виновата), что мы движемся вспять. Возможно, я требовал от жизни больше, чем мне положено, возможно, человек родился только для того, чтоб мучиться, ждать впустую,

не знаю... Не дай тебе бог, когда доживешь до моих лет, подумать, что зря тянул свои дни, что должен был идти в жизни совсем другим путем.

Ты не можешь представить себе, как мы с друзьями начинали! Никто ни в чем не сомневался, не было на белом свете такого дела, которое не было бы нам под силу. Так мы, во всяком случае, думали. Наверное, так и должно быть, любой молодой человек, начинающий жизнь, должен думать именно так... Но вот гляжу я сегодня на вас — вы другие, поспокойнее, что ли? Может быть, это и к лучшему, а может, и нет, я ведь уже сказал, что вконец растерялся, не пойму, что к чему в этой жизни. Но одно уразумел я в жизненном водовороте — незачем всем восторгаться. Не раз мы что-то затевали, на копеечные дела мобилизовывали людей, а вскоре выяснялось, что действовали не совсем правильно. Для истории, как бы мы ни пыжились, все это — лишь одна строка, не более. Вот историк впоследствии и выносит нам приговор, как человеку, словно слепая курица, кидающемуся во все стороны.

Что касается меня... Моя жизнь прошла, но, стоя на краю могилы, я должен спросить кого-то — в чем я провинился, почему с самого детства моя жизнь пошла вкривь и вкось, как мне жить остатки дней, когда от зряшных ожиданий ноет душа? Кто мне что ответит?

Быть может, я никчемный человек, а к другим судьба была милостива? Не знаю, друг мой, не знаю, я ни с кем не говорил об этом. Всю свою сознательную жизнь я боялся кого-то, мне постоянно казалось, что кто-то следит за мной. Порой у меня буквально горела спина от чьего-то пристального взора и я оглядывался в надежде увидеть глаза человека, глядящего мне вслед. Скорее всего, это был напрасный страх, ведь известное дело — обжегшись на молоке, дуешь на воду, и все-таки сегодня, с расстояния прожитых лет, мне кажется, что я спасся. Откуда у меня это ощущение, не могу сказать. От чего мне надо было спасаться, и сам не знаю, но уверяю тебя, я должен быть благодарен судьбе. Ведь было время, когда и не таких, как я, драли за уши. Может, я был мелкой сошкой или же у меня были маленькие уши? Вспоминая, что пришлось пережить кое-кому, я, признаться, не могу не испыты-

вать чувство радости — ускользнул я все-таки из рук Немезиды.

Дай бог тебе прожить вдвое больше, чем прожил я, но должен похвастать — не могу не испытывать удовлетворение от того, что я уже прожил семьдесят лет. Моя песенка, как говорится, уже спета, вот почему сегодня я не стремлюсь быть в гуще событий, хотя и пассивным наблюдателем быть не хочется. Теперь уж меня не так легко сбить с толку, усыпить пышными фразами. Да... было время, когда я всему верил. Думаешь, я доволен тем, что и мне пришлось испытать кое-что, и теперь мои ноги, словно кандалами, закованы жизненным опытом? Не верь, что существует мудрость старости, все это выдумки. Во-первых, всевышний, видать, надежно спрятал ключи от праведной жизни и мы понапрасну ищем их, во-вторых, кто знает, что хорошо, а что плохо на этой земле. Может то, что сегодня мне кажется истиной, помнишь, я тебе уже говорил, покажется смешным человеку тридцатого века. И знаешь, дружок, не нужен мне ум, который запретит мне жаворонком взлететь в небо, а будет учить лишь ползать по земле.

Но коли ты пришел ко мне за советом, я должен научить тебя уму-разуму по-своему, как умею. Сам я, разумеется, не жил так, как нужно. Сегодняшняя моя мудрость возвращена на моих ошибках. Лишь когда жизнь щелкала меня по носу, я находил выход, но бывало уже поздно. И поскольку, как говорится, идущий впереди прокладывает дорогу идущим вослед, дам тебе несколько советов, дабы ты не совершал моих ошибок. Ты сделаешь еще немало своих, так что незачем тебе повторять мои.

Так вот, слушай.

На работе прикинься тихоней, туго соображающим, избегай выступлений — слишком активных недолюбивают. И как бы тебе ни хотелось высказаться, подави в себе это желание. Промолчи, пусть говорят другие, а ты вперед батьки в пекло не лезь. Вот когда у всех уже будут отваливаться руки от хлопания, ты последуй их примеру.

Не стремись выдавать себя за хорошего работника. Стоит тебе отличиться, как даже закадычные друзья станут твоими врагами. Не спеши, не хватайся

рьяно за дело. Знай — если энергично возьмешься за дело, одни назовут тебя карьеристом, а начальство, будь уверен, постарается законсервировать твою пребы-вание на должности, никто не подумает выдвинуть тебя — ни к чему это, ты ведь и на старой работаешь, как надо. Если хочешь продвинуться по служебной лестнице, тяни резину, волюнь — и тебя непременно приметят.

Перед начальством прикидывайся дурачком. Знай, никто не любит того, кто умнее. Вообще, старайся не выделяться, запомни, если где-то во время застолья ты произнесешь самый лучший тост или споешь лучше других, то двум-трем девчонкам ты, может быть, и приглянешься, зато остальные тебя возненавидят — даже брат, бывает, завидует брату.

Кто бы ни спросил тебя, как ты живешь, не спеши ответить, что хорошо, если даже тебе и в самом деле живется лучше других. Скажи, что беспокоит тебя то или другое, на худой конец, ответь «так себе». Знай, что интересуются твоим здоровьем только ради приличия, и когда ты говоришь, что живешь хорошо, поверь мне, твоему собеседнику это не доставляет особой радости, ему куда приятнее, когда тебе трудно живется. Тогда ты такой же как и другие, ведь всех на земле что-нибудь да беспокоит. Не спеши делиться с кем бы то ни было своей радостью или успехом. Даже тот, кто будет шумно радоваться вместе с тобой, в душе подумает: «Надо же, чтоб повезло ему, а не мне». А с тобой такого не бывает, ну-ка подумай?

Что касается твоих тайн, не дай бог, чтоб ты поведал о них кому-нибудь! Сегодня не найти человека, способного хранить тайну другого. Один из трех, даже самых близких тебе людей, непременно проговорится, притом, учти, не случайно, а намеренно.

Не умножай ни врагов, ни друзей, враги сожрут тебя, а многочисленным друзьям надо отдавать все тепло своего сердца. Даже кровному врагу не дай почувствовать, что знаешь, кто он, напротив, улыбайся, усыпи его бдительность, притворись, что ты все забыл и простил и в последнее время даже полюбил и уважал его. Вообще-то к врагу и надо относиться как к врагу, но ударить надо тогда, когда ты твердо уверен, что добьешь его. Не стоит всю жизнь положить на то,

чтобы пощипывать, покусывать своего врага, это обойдется слишком дорого. Лучше действовать наверняка, покончить с ним раз и навсегда.

Никогда не чувствуй себя в безопасности. У людей руки длинные, доберутся до тебя и в старости. Если в молодости с тобой не справятся, схватят, когда станешь немощен, и заставят замаливать грехи. И мертвым не обретешь ты покоя, сам знаешь, скольких откапывали и пригвождали к позорному столбу, так что старайся в жизни никого не обижать, чтоб не наживать себе врага.

Люди все видят. Даже в дремучем лесу и глубокой ночью — ты не один. Потому в темноте не делай ничего такого, отчего тебе будет стыдно днем. Не забывай — кто-то неусыпно следит за тобой — и днем, и ночью. Слышал я в детстве притчу о двух братьях, косивших сено на вершине горы. Дело происходило в давнее время, при царе Николае. Вокруг на расстоянии двадцати километров — ни души. Один брат возьми да спроси шепотом у другого: «Что говорят, когда же наконец скинут Николая?». Как ты думаешь, что последовало за этим? На другой день косил сено только один брат. Так-то вот...

Старайся лишний раз не попадаться на глаза соседям. Даже самый близкий сосед рано или поздно будет сводить с тобой счеты. Поэтому не стоит особенно привечать соседей, вводить их в курс твоих дел. Более того, покупая дорогую вещь, постарайся принести ее домой ночью, чтоб соседи не видели. Хоть один из них да подумает: на какие деньги ты приобрел такую дорогую вещицу. Что касается зависти, даже самой светлой, если такая, конечно, существует, то будь уверен, все тебе будут завидовать. Нет на земле человека, способного подумать, что как хорошо, что такой прекрасной вещи у меня нет, зато есть у моего соседа.

Разговаривая с кем-либо, притворись, что только с ним ты откровенен и искренен. В самом же деле не раскрывай душу ни перед кем, всегда оставляй пути для отступления. Откровенный человек сегодня кажется если не сумасшедшим, то во всяком случае наивным. На работе ни с кем не сближайся, бойся прослыть «его человеком». Во-первых, тебя возненавидят другие и будут стараться очернить, оклеветать тебя, обвинить во

всевозможных грехах. Человек существо слабое, и в конце концов твой бывший покровитель отвернется от тебя. И окажешься ты в роли летучей мыши — в небе ты не птица, а на земле не мышь. Дружба с начальством чревата опасностью еще и потому, что как только он потеряет кресло, следом постараются избавиться и от тебя. Поверь, нет ничего лучше, чем прослыть нелюдимым, необщительным человеком.

Наверняка встретится тебе в жизни женщина, к которой ты будешь неравнодушен. Никогда не афишируй свою связь с женщиной — это недостойно мужчины. Кроме того, громкая связь всегда плохо кончается. Учти, ни один из смертных не обрадуется твоему счастью. Зависть погубит обоих. Разве что один из ста отнесется к вам доброжелательно, ведь и женщины и мужчины одинаково завидуют влюбленным.

Помни, помни ежеминутно о дурном глазе!

В городе свирепствовал октябрьский холодный ветер.

Лексо шел к троллейбусной остановке. Посмотрев вправо, он подумал, что если троллейбус виден невдалеке, он подождет, а если нет, то пойдет дальше пешком.

На улице всего две недели назад повесили знак, предупреждающий об одностороннем движении. Водители тормозят, оглядываясь на знак, недовольно ворчат и разворачиваются.

Настроение у Лексо после назиданий Эпифанэ вконец испортилось. «Зря только я навестил его... Надо же, как он напуган, а я считал его человеком... Наверное, он и в молодости был такой же, не думаю, чтоб жизнь его так пообломала. Что же ему пришлось претерпеть, если он способен учить только ползать — и ничему более...»

Перед институтом на асфальте копошились голуби. Когда к ним приближался человек, они, шумно взмахнув крыльями, взлетали и садились на парапет. Стоило человеку пройти, как голуби снова опускались на асфальт.

Прохожий, занятый своими мыслями и не замечавший голубей, вздрагивал, когда они взлетали, удивленно оглядывался и почему-то доставал руки из карманов.

Лексо замедлил шаг, прошел чуть-чуть правее, по краю тротуара — он не хотел пугать голубей. Когда он приблизился к ним на два-три шага, голуби все же взлетели. И только один не тронулся с места, он лишь повернул голову, оглядел Лексо и как ни в чем не бывало продолжил свое дело.

Никто не знает, подумал ли Лексо в эту минуту, что этот голубь самый умный из голубей. Но на душе у него потеплело. Если бы его спросили почему, он, вероятно, не смог бы ответить.

Перевод Виктории ЗИНИНОЙ

Манана

Начальнику отделения милиции — тов. Геладзе.

С этим заявлением к вам обращается Манана Савлеевна Махатадзе, проживающая без прописки на Тхилианской улице в комнате, которую снимает ее подруга Русудан Вачнадзе. Вчера вечером мне сказали — меня спрашивали из милиции. Я сама давно должна была прийти к вам, но никак не дошло до этого. А теперь вот, когда я наконец пришла, вас нет, и никто из ваших сотрудников не знает, кто и по какому делу вызывал меня. Инспектора нашего района Чанкветадзе тоже не оказалось на месте. Это свое заявление я оставляю у дежурного. Если я вам понадобится для каких-нибудь дополнительных разъяснений, вызовите меня, а нет, так я сама дня через три зайду к вам. Я не жду от вас ни ответа, ни помощи. Если для вас что-нибудь значит мое извинение, хочу извиниться за то, что вот уже шестой месяц живу без прописки у своей подруги. Говорят, за это штрафуют, но прошу вас, не штрафуйте меня, потому что у меня нет ни копейки. Дня через три я соберу свои вещи и уеду из Тбилиси навсегда. Но прежде зайду к вам попрощаться. Не удивляйтесь этому, вы меня, конечно, не знаете, но я все-таки зайду поблагодарить вас, потому что это, наверно, по вашему распоряжению мне дали три дня на сборы. А они очень необходимы мне для урегулирования моих личных дел.

Не знаю, почему мне хочется рассказать вам о себе. Я видела вас всего один раз в прошлом году, если

помните, на улице Генерала Гусева. Это было 27 мая. Я очень спешила в тот день и перешла через улицу в неполюженном месте. Меня остановил милиционер. Потребовал документы. К сожалению, у меня с собой не оказалось ни паспорта, ни удостоверения личности. Я сказала, что очень спешу и уплачу штраф, но он не отпуская меня. Есть такие милиционеры-приставалы, которым все надо знать. Его интересовало, кто я, чем занимаюсь... Что я такого сделала, говорю ему, отпусти, будь человеком, меня ведь ждуг. Меня действительно ждали у памятника Грибоедову, напротив загса — расписывалась одна из моих подружек. Но он все не отпускал меня. Я заплакала. В это время вы проезжали мимо и остановили машину. «Что здесь происходит?» «Блюстителъ порядка» вытянулся во фронт и отрапортовал: «Гражданка нарушила правила движения и не предъявляет документы». «У меня нет с собой документов, я уплачу штраф, я очень спешу», — бормотала я в свое оправдание. Вы посадили меня в свою машину и подвезли к памятнику Грибоедову. По дороге вы говорили только с шофером, не обращая на меня никакого внимания. Но, когда я, выходя из машины, поблагодарила вас, вы улыбнулись и сказали: «Всего хорошего, девушка, если мои сотрудники когда-нибудь еще раз рассердят вас, сообщите мне, и я накажу их. Моя фамилия Геладзе, я — начальник отделения милиции этого района». Больше я вас не видала. А сегодня в милиции я узнала, что фамилия начальника райотдела Геладзе, и я решила, наверно, это вы. Сижуг сейчас в вашей дежурке и пишу это заявление. Об одном только прошу вас — прочтите его и, когда я через три дня зайдуг к вам, коротко объясните мне, в чем моя вина, почему случилось так, что двадцати четырех лет от роду я оказалась совершенно одна в городе, где родилась, и не просто одна, а еще и без кола и двора, и без работы, и, как наверно, вам сообщил наш районный инспектор, без прописки.

Я родилась в 1962 году. Родителей не помню. Через год после моего рождения мама умерла от опухоли в мозгу. Отец даже не явился на ее похороны, и я ничего не знаю о нем. Мама, оказывается, так и не сказала, кто был отцом ее ребенка. Он — женатый человек, говорила она, и ни в чем не виноват, это я хотела иметь

от него ребенка и не скажу, кто он, даже под пыткой. Такая была у меня мама...

Все это я узнала семь лет назад от своей тети, которая воспитала меня. Но до десятого класса я ни о чем не подозревала. Муж моей тети погиб в автомобильной катастрофе, и она растила меня с Хатуной, своей родной дочерью, которая была на три года старше. Я училась уже в десятом классе и звала тетю мамой, а Хатуну считала своей родной сестрой. Однажды в канун седьмого ноября раздался телефонный звонок. «Мамана, позови свою тетю», — произнес женский голос, который я ни до, ни после того дня ни разу не слышала. «Какую тетю?» — удивилась я. «Твою тетю Ламару». «Ламара мне не тетя, а мама!» «Нет, детка, твоя мама уже шестнадцать лет в сырой земле лежит». Может быть, эта женщина говорила не со зла, может быть, просто не понимала, что своей жестокостью она дважды осиротила меня, уже почти взрослого человека. В груди у меня как будто что-то оборвалось. Какую магическую силу, оказывается, имеет слово! Могла ли я подумать, что после этого посмотрю на свою сестру и мать иными глазами, что они станут другими для меня людьми, пусть по-прежнему близкими и любимыми. Тете ничего не оставалось, как рассказать мне обо всем...

Через неделю почти все забылось. Я продолжала называть Ламару мамой, но жестокая правда, брошенная мне в лицо старой сплетницей, оставила в глубине души горький осадок. Я так и не смогла избавиться от него.

Когда я закончила школу, Хатуна училась уже на третьем курсе лечебного факультета. Меня не увлекала профессия врача, да я и не выдержала бы приемных экзаменов в мединститут, так как мне не удавались физикс-математические дисциплины. Я решила сдавать на юридический, но документы принимали только у тех, кто имел двухгодичный стаж работы. Тогда я передумала поступать на юридический и сдала документы на факультет восточных языков. Но не попала — недобрала пол-очка. Недобравших пол-очка было четверо, и нам обещали, что будут дополнительные списки. Два месяца мы тщетно прождали их — нашему факультету дополнительных мест не дали и мы остались за бортом. Но первая неудача не сломила меня. Ну и

что, думала я, буду работать и учиться и, если в этом году не прошла по конкурсу, то в следующем мне обязательно повезет, в конце концов я не юноша, в армию не призовут...

В конце октября тетя устроила меня на работу в районный архив финотдела. Ради стажа, как вам известно, девушки моего возраста какими только нудными делами не занимаются, где только не скучают... Заместитель начальника архива Чанчабадзе был ветеринаром по профессии. Он мне в отцы годился, и я относилась к нему так, как подобает относиться девочке моего возраста к мужчине, годящемуся ей в отцы. Он постоянно что-то рассказывал мне, я с удовольствием слушала его, откуда мне было знать, что у него на уме. Однажды, когда в архиве никого не было, мы стояли у окна, он что-то по обыкновению рассказывал мне, потихоньку приближаясь ко мне, и вдруг привлек к себе и начал целовать. При этом с такой силой прижал меня к груди, что я не могла вырваться. Губы у меня вспухли, ребра ныли, кое-как я выскользнула из его объятий, перевела дух и бросила ему прямо в лицо: «Вы что, Чанчабадзе, на старости лет ума лишились?!» А он, бесстыжий, глядя мне в глаза, говорит: «Я люблю тебя». Что мне было делать, не могла же я ударить его. «Возьмите себя в руки, Чанчабадзе, вспомните о своей семье, я вам не игрушка!» Я перестала с ним разговаривать. А он, проходя мимо, улыбался мне. На четвертый день я решила заговорить с ним, я знала, что делаю глупость, не следовало с ним заговаривать, но любопытство взяло верх — какой он, влюбленный мужчина?! Остались мы с ним после работы, и могло случиться так, что я всю жизнь жалела бы об этом. Чувствовала, еще немного и оступлюсь. Но я овладела собой и заявила тете, что ухожу из архива, что из-за архивной пыли я постоянно чихаю и боюсь, как бы у меня не началась аллергия. Не могла же я, в самом деле, сказать ей правду! Я предпочла уйти, нежели стать жертвой Чанчабадзе.

Как вам известно, найти работу непросто. Тетя, надо отдать ей должное, сделала все, чтобы пристроить меня, но ничего подходящего не нашла. Я и подумала, почему бы мне самой не поискать, не ребенок же я в конце концов, сама устрою свои дела. Села в троллей-

бус и вышла на четвертой остановке. Вошла в первое же учреждение на улице Хахаладзе, кажется, это был какой-то проектный институт. Нашла кабинет директора. Навстречу мне поднялся человек среднего роста в костюме, как мне показалось, для верховой езды, с живыми глазами и редкими волосами. «Я по поводу работы». «Печатать умеете? — спросил он и, не дождаввшись ответа, добавил: — Впрочем, это не имеет значения, научим». И тут же продолжил: «А не поленитесь рано вставать? Девушки вашего возраста любят нежиться в постели. Вам определенно повезло, есть у меня одна штатная единица технического работника, оформим с завтрашнего дня. Как вас зовут, где живете, какую школу окончили, родители чем занимаются?» Одним словом, он проявил ко мне огромный интерес, а я по своему простодушию выложила ему все — какой редкий человек мне повстречался, как легко, оказывается, найти работу! Он сам продиктовал мне заявление и тут же наложил резолюцию. «Приказ оформим завтра», — сказал, пряча заявление в ящик стола. Дружески беседуя, проводил меня к выходу. «Я еще не обедал, — сказал он, когда мы вышли на улицу, — не составишь мне компанию?» Я согласилась. Он посадил меня в свою машину и подкатил к ресторану «Сакартвело». Официанты были в высшей степени почтительны с ним, а со мной он, по правде говоря, вел странный разговор: «Скучная штука — жизнь! Счастье — понятие условное. Жену раньше любил без памяти, а теперь терпеть не можем друг друга. Мне нужен друг, которому я мог бы раскрыть свою душу. Ты, как видно, очень наивная и чистая девушка». Когда мы возвращались, он погладил меня по голове. Я умолкла, а он, не ограничившись этим, поиграл пальцами на моем плече, а потом потер мне мочку уха. Я отодвинулась и сказала: «Извините, но я не терплю подобные вещи». А он вдруг вынул какие-то ключи из кармана и говорит: «Кстати, только сейчас вспомнил, тетя оставила мне ключи от квартиры, сама в Кисловодске отдыхает, давай поднимемся, посмотрим, все ли там в порядке, а то долго ли обокрасть пустую квартиру?» Его хитрость была шита белыми нитками, и я ответила категорическим отказом: «Если можно, подвезите меня к дому, я на Вашлованской живу, и вообще с посторонними муж-

динами в чужие квартиры не захожу». «Ладно, девушка, как хочешь, ничего такого не думай, я просто хотел поболтать с тобой». Он подъехал к троллейбусной остановке и, извинившись, высадил: «Не обижайся, но тебе придется добираться до дому на общественном транспорте, я только сейчас вспомнил, что у меня совещание, спешу!»

В тот же вечер я рассказала тете, что нашла работу. О ресторане и директорском предложении, разумеется, ни слова. Тетя отругала меня: «Как ты посмела просить незнакомого мужчину о чем-либо?! Люди разные встречаются, и вообще откуда в тебе столько смелости?!» На другой день, когда я пришла на «работу», директор встретил меня очень холодно. «Дело в том, девушка, что штатная единица, о которой я говорил, оказывается, занята, две недели назад взяли сотрудника, я просто позабыл об этом. Вот когда кончишь вуз и немного поумнеешь, заходи, может быть, что-нибудь приглянется для тебя». Он пожелал мне успехов и выпроводил вон.

Я с ревом вернулась домой. Тете сказала, что штатная единица оказалась занятой, и была потрясена, когда она, как ясновидящая, ответила мне, что была уверена в этом: «Разве он не предлагал тебе вчера прокатиться на машине или пообедать с ним в ресторане? Говори, не скрывай от меня!» «Он просил меня составить ему компанию, но я отказалась и ни в какой ресторан с ним не ездила». Не знаю, поверила мне тетя или нет, но, бросив на меня грозный взгляд, приказала: «Ни шагу из дому без моего ведома! Ты не знаешь жизни, и вообще я не слыхала, чтобы девушки твоего возраста сами искали себе работу!»

Я сидела дома и усиленно занималась. Время бежало. В апреле тетя устроила меня младшей лаборанткой в геологическое управление. Работы в лаборатории цветных минералов было немного. Свободного времени — хоть отбавляй, и я занималась. В тот год я снова пыталась пройти по конкурсу в университет и снова мне не хватило пол-очка. Чтобы не наскучить вам, скажу коротко: в этом году я в шестой раз сдавала экзамены в вуз — дважды на факультет восточных языков, один раз на филологический, дважды на историко-филологический и в последний раз на библиотековедческий, но

каждый раз, как будто против меня был заговор, мне не хватало либо очка, либо, что еще досаднее, пол-очка. Другая на моем месте махнула бы на все рукой, но я не теряла надежды, по правде говоря, я и не знала, чем другим мне еще заниматься. Казалось, всю жизнь так и прохожу в абитуриентках. Да я и сейчас толком не знаю, что буду делать, но что-то изменилось во мне, я вдруг почувствовала в себе силы свернуть с этой скучной накатанной дороги. И это дело, правда?!

Теперь о том, как я очутилась на улице. В геологическом управлении часто бывал по своим делам некто Свинтрадзе, геолог лет тридцати пяти, приятной наружности. Как мы потом узнали, разведенный. Моя двоюродная сестра Хатуна изредка забегала ко мне в лабораторию и однажды встретилась здесь с Свинтрадзе. Мы как раз собирались с ней в ателье мод — Хатуна шила себе костюмчик. На другой день в лабораторию заявился Свинтрадзе и стал упрашивать меня познакомить его с моей кузиной. Короче, я их познакомила. Он тоже, как видно, пришелся Хатуне по душе, и они стали встречаться. Одним прекрасным вечером Хатуна со счастливым лицом объявила нам: «Свинтрадзе сделал мне предложение». Я, разумеется, страшно обрадовалась. В ноябре Свинтрадзе пригласил свою невесту и меня к себе в деревню. Мы погостили у него три дня. Деревня недалеко от Тбилиси, в каких-нибудь шестидесяти километрах. Нас приняли прекрасно. Я радовалась за Хатуну, счастье действительно улыбнулось ей. После праздников, девятого, мы вернулись домой. Одиннадцатого Свинтрадзе пришел к нам в лабораторию и попросил меня выйти с ним: «Есть разговор». Я вышла, думала он о Хатуне и о свадьбе будет говорить. Но не тут-то было. Только мы сели в парке на скамью, как он вдруг брякает: «Я люблю тебя, ни на ком, кроме тебя, не женюсь, отвечай, согласна ты или нет». Я решила было, он шутит, но поняв, что он говорит серьезно, даже побагровела от злости: «Как тебе могла придти в голову подобная глупость?! А что же будет с Хатуной?! Она любит тебя, мы тут думаем, свадьба на носу, а ты...» «Ничего не могу с собой поделать, я влюбился в тебя, сердцу ведь не прикажешь. Мне очень жаль, что так получилось, но иначе я не могу поступить. Отныне ты — моя жизнь». Он накрыл

мою руку своей рукой и действительно она у него дрожала. «Отпусти мою руку, Свинтрадзе, и навсегда расстанься с мыслью, что я могу стать твоей женой. Из-за тебя я не стану терять свою двоюродную сестру, с которой выросла вместе! Или женись на Хатуне, или забудь мое имя и, если мы случайно встретимся на улице, не здоровайся со мной. Ты для меня больше не существуешь!» С этими словами я встала и ушла.

Свинтрадзе раза два еще заходил в лабораторию, пытался уговорить меня, но я не вступала с ним в разговор и в конце концов он отстал. Но к Хатуне не вернулся. Не звонил, не подавал о себе вестей. Так прошло больше месяца. Однажды они случайно встретились на улице, и Свинтрадзе сказал ей: «Прости меня, Хатуна, между нами все кончено. Я думал, что люблю тебя, но, к несчастью, ошибся». Обливаясь горячими слезами, Хатуна примчалась домой. Хотела покончить с собой. Любила его, наглеца. А я, пораскинув своим куцым умишком, решила открыть Хатуне и тете всю правду, пусть знают, что он недостойн Хатуниной любви и что я, ее двоюродная сестра, бескорыстна и преданна ей.

Вот с этого-то дня и невзлюбили меня Ламара с Хатуной. Они едва со мной разговаривали. А однажды вечером моя двоюродная сестрица заявила мне: «Я знаю все, это ты, оказывается, кружила голову Свинтрадзе и предлагала ему жениться на тебе! И мне испортила дело, и сама осталась у разбитого корыта». «Кто сказал тебе подобную мерзость?» «Сам Свинтрадзе! Да и вся ваша лаборатория в курсе дела!» «Пойдем к нему, пусть этот подлец повторит все при мне!» «Делать мне больше нечего! Расследовать твои делишки с каким-то сиволапым Свинтрадзе! Черт с ним, да и с тобой тоже!» Что мне было делать? Как доказать свою невиновность?! Я плакала, клялась, божилась, ничего не помогало. Они перестали со мной разговаривать, а в разговорах между собой только и делали, что ругали и проклинали меня. Я не могла оставаться у них, собрала свои вещи и перешла жить к Русико, которая временно приютила меня. Русико — аспирантка, сама без квартиры, снимает комнату. Она — хороший человек, но я чувствую, что мешаю ей, правда, она мне ничего не говорит, но ведь надо совесть знать.

Мои родственнички оговорили меня и на работе. Все в управлении узнали, что я, сирота, которую вырастили как родную, отплатила черной неблагодарностью своей благодетельнице, а именно: пыталась отбить жениха у ее дочери. Язык без костей, меня объявили любовницей Свинтрадзе. Не ограничившись этим, выписали из домовой книги как выбывшую из города неизвестно куда. Как им это удалось, не знаю. А потом пожаловались на начальника управления — держит, мол, лаборантку, не имеющую городской прописки. Начальник вызвал меня: что, говорит, у вас происходит? Я оправдывалась, как могла, но он мне не поверил, потому что в разговор вмешалась находившаяся в кабинете приятельница моей тетки Хахамадзе. «Не верьте этой бессовестной лгунье, батона! — сказала она. — Сколько горя она причинила своим близким. Отбила у сестры жениха, а сейчас шантажирует тетку, хочет отнять у нее квартиру. Ушла из дому, живет неизвестно где, без прописки, наверно, у такой же, как она, девицы подозрительного поведения». Устами Хахамадзе, конечно, говорила моя тетка, я растерялась от этого всплеска злобы и ничего не смогла сказать в ответ. На другой же день написала заявление с просьбой освободить меня от работы. Наверное, я поспешила, но я и там уже не могла оставаться. Мое сердце не выдержало бы, если я хоть раз еще увидела бы Хахамадзе.

Вот и все. Простите за каракули, вообще-то почерк у меня неплохой, но сейчас я очень нервничаю и рука дрожит.

Почему должно было случиться такое? Наверно, я во всем виновата, но что мне было делать?! Что я могла изменить? Может быть, я слишком нервная и принимаю слишком поспешные, слишком неразумные решения? Если вам не трудно, объясните, в чем моя вина, вы ведь на своем веку повидали немало таких чудиков, как я.

В Сачермийском районе у меня есть родня со стороны дяди. Я написала им, они ответили: «Приезжай, как-нибудь устроим тебя». Они люди простые, но у себя в районе, как видно, весьма уважаемые, они поддержат меня. Не может быть, чтобы человек не пришел на помощь человеку.

Перевод Лианы ТАТИШВИЛИ

Прорицатель



«Самолет, следующий рейсом 236 до Сардаки, по техническим причинам задерживается до 13.00».

При этом сообщении сердце Калистратэ Панчулидзе сжалось, к горлу подкатил комок и он сдавленным от волнения голосом, но довольно громко обратился к собравшимся у «Выхода № 2» пассажирам: «Да это просто издевательство». Поскольку никто не проронил ни слова в ответ, он схватил свой портфель и бегом направился к окошечку справочного бюро. «Спрашивается, чего я расшумелся, я же знал, что самолет не будет отправлен. И зачем я иду в справочное бюро, я же знаю, почему рейс задерживают — нет горючего, вот и все. Но как мне убить эти пять часов, куда деваться от рева двигателей?». Раздумывая таким образом, Калистратэ миновал окошечко справочного бюро, вышел на улицу и взял курс на аэропортовскую гостиницу.

Пассажирам, столпившимся у «Выхода № 2» — и деловым, и бездельникам, — могло показаться, что этот человек торопится по весьма важным государственным делам и его подвел аэрофлот. В действительности же Калистратэ никуда не торопился — его никто не ждал в аэропорту Сардаки и озабоченный председатель симпозиума не спрашивал поминутно у истомившегося от ожидания зала: не приехал ли Панчулидзе?

Отправлялись ли вы куда-нибудь далеко просто так, безо всякой цели? Или не возникало ли у вас мысли, что если вы немедленно, хотя бы ненадолго, не уедете куда-нибудь, ничего хорошего не жди. Вот так вчера Калистратэ и решил отправиться в Сардаки. Сегодня утром, в шесть часов, когда он сел в такси, он уже знал, что вылет самолета задержится, но скрыл это от жены и сына, с озабоченным лицом расцеловал свое семейство: «Если бы не срочная командировка, чего ради мне отправляться в столь дальний путь», — в который раз повторил он и, взглянув на жену и сына, остался доволен произведенным впечатлением. По всему было видно, что домашние ни на секунду не усомнились в том, что сказанное — чистейшая правда. Но все же, спросите вы, почему он едет? Не скрою от вас — послезавтра исполнится ровно месяц, как Калистратэ заметил

в себе нечто странное: он все угадывает заранее. Слово «прорицатель» давно появилось в нашем лексиконе, но вряд ли кто видел живого ясновидца. А вот уроженец города Дзелквиани, завхоз 7-й экспериментальной школы Калистратэ Панчулидзе в один прекрасный день обнаружил в себе этот удивительный дар. Он безошибочно читает чужие мысли, заранее знает, что случится, что за чем будет следовать. Но не завидуйте его положению, дорогой читатель! Это оказалось невыносимым — знать все наперед. Замучился человек. Ходит на работу, встречается со знакомыми, читает газеты, смотрит телевизор и... все знает заранее. Знает, что ему скажут, чего ждать человечеству, знает, когда его обманывают, а когда нет. Он едет в Сардаки в надежде, что, быть может, в незнакомом городе он ненадолго забудется. Может, в другой среде избавится от этого ужасного дара. Сейчас вот в аэропортовской гостинице он положит голову на подушку и немного вздремнет, но он абсолютно точно знает, что поначалу ему откажут в номере.

Все было именно так. «Была бы только возможность, как не помочь хорошему человеку», — сказал администратор. Калистратэ, не ответив, стал подниматься по лестнице. Уставившись на дежурную второго этажа, подумал: «И она откажет. В этом возрасте женщины боятся потерять работу». Не приглянулась ему и дежурная третьего этажа — молодая видная девушка — работает, видно, из-за стажа, подумал, и из-за моей десятки не станет портить себе характеристику. На четвертом он остановился. За столиком дежурной сидела огромная женщина с толстыми сосискообразными пальцами. Лицо у нее было таким багрово-одутловатым, что казалось, на ее шее затянули веревку. «Такие любят хорошо поесть, а за деньги и отца родного продадут», — подумал Калистратэ и не ошибся.

— Самолет задерживается на два-три часа, не найдется ли где для меня местечка — отдохнуть.

Женщина, зевнув, взглянула на него покрасневшими с набрякшими веками глазами. Довольно долго рассматривала его, потом вдруг улыбнулась желтозубой противной улыбкой.

— Право, не знаю, можно ли вам довериться?

— О чем речь?!

— Десять рублей.

— Хорошо, я согласен, — Калистратэ отвел взгляд в сторону.

— Пройдитесь по коридору, и какая комната вам понравится, ту и займите. Вы сами проснетесь или вас разбудить?

— Благодарю вас, вряд ли я засну, просто, может, полежу. Так какую комнату мне занять?

— Какая понравится. Весь этаж пуст, — добавила она.

Калистратэ открыл дверь четыреста двадцатого номера. Портфель поставил на стул, пальто швырнул на диван и только взялся за галстук, как в дверь постучали.

У дежурной был сдавленный, квакающий голос.

— Деньги вперед, если не обидетесь.

Калистратэ рассмеялся, сунул в руки дежурной десятку и отвернулся. Сняв галстук, он закрыл дверь на ключ.

Но он так и не смог отвлечься. Шум с летного поля проникал в щели окон, и скрежет двигателя, будто пилат железо, не только давил на барабанные перепонки, но тяжким грузом падал на сердце. Он напрасно крутился в постели и ровно через час снова стоял перед окошечком администратора.

— Не освободился ли какой-нибудь номер? Отдохнуть бы малость, я не совсем здоров.

— Если бы была возможность, разве я отказал бы вам? Гостиница для того и существует, чтобы люди отдыхали, — лопухий администратор выдал эту бессовестную ложь таким убедительным тоном, каким умеют говорить только администраторы.

— Объясни-ка мне, что происходит с нами? Что происходит на этом свете? — сунул голову в окошечко и повысил голос Калистратэ.

— А что, что случилось? — заинтересовался администратор.

— В чем дело? Почему люди потеряли совесть, объясни мне, пожалуйста, и я уйду, — от злости у Калистратэ стала дергаться левая щека.

— Ничего не могу вам сказать. Что, что-нибудь новое слышали? — принял невинный, честный вид представитель гостиничной администрации.

— Ты в сторону не гляди. Ты на себя посмотри. Разве ты человек? Есть в тебе что-либо человеческое? Вся гостиница пустая, а мне, человеку с большим сердцем, ты говоришь, что мест нет? Почему ты так... что тебя довело до этого?

Администратор не ответил на этот вопрос. Он встал, взял бумагу, лежащую на краю стола, и, молниеносно повернувшись, захлопнул окошечко. Калистратэ едва успел убрать голову, иначе стекло окошечка разбилось бы о его физиономию.

— Ну что с тобой говорить, скотина ты, больше ничего! — проговорил Калистратэ, махнув рукой, и отошел от окошечка.

Уже стемнело, когда, наконец, уставших от бесцельного хождения по территории аэропорта пассажиров пригласили на посадку.

Калистратэ посмотрел на небо, и ему показалось, что оно кипит. Облака роились на месте, поднимались и пухли, как готовое вылиться из огромного котла тесто. Затем снова съеживались и мешались.

Заведующий хозяйственной частью сидел у иллюминатора «ТУ-156», бессмысленно уставившись на утыканное латунными гвоздями громадное крыло. Только когда самолет оторвался от земли, он посмотрел на соседей.

Рядом с Калистратэ сидел худой мужчина лет пятидесяти, с поредевшими волосами.

Ясновидец поглядел сначала на обтягивающую выдававшиеся скулы кожу, тонкую и нежную, как у женщины, затем на грубые, словно высеченные из дерева, руки со вздувшимися венами и подумал: как у человека с таким лицом могут быть такие руки? Рядом дремал мужчина с лошадиной головой в искусственной шубе, в надвинутом на глаза берете. Судя по той части лица, которая была видна, он был удивительно похож на французского комического актера — Фернанделя.

— Максимэ, — почти шепотом произнес сидевший рядом.

— Простите?! — Калистратэ взглянул ему в глаза.

— Максимэ, — повторил незнакомец и коснулся рукой его колена.

— Извините, — «хозяйственная часть» только сейчас заметила протянутую к нему руку. — Калистратэ.

— Очень приятно. Когда мы летели туда, рядом с нами сидел тержолец. Он оказался мельником. Как его звали? — обратился он к «Фернанделю».

— Ипполитэ, — не поднимая головы, ответил человек в берете.

«Они были в командировке в нашем городе. Видимо, побыли неделю, не больше. Это видно по их лицам, не слишком загорелым и не опухшим от вина. Проверяли какое-нибудь учреждение. Вот у того на коленях лежит набитый документами портфель. И их двое! Сейчас одному не доверяют ревизию. Проверяемый ими объект не принадлежит к торговой системе — во-первых, их никто не провожал, а, во-вторых, одеты они не так, как ревизоры торговой сети. Они больше похожи на гостей спортивного ведомства. Судя по рукам, бывшие спортсмены».

Из вежливости, лишь бы что-нибудь спросить, Калистратэ подал голос:

— Давно в этих краях?

— Нет, не так уж и давно, — Максимэ вновь посмотрел на «Фернанделя». — Когда мы прилетели?

— Восемнадцатого, — проговорил человек в берете.

— Да, восемнадцатого. Неделя. Сегодня ведь двадцать пятое, не так ли? Выходит, ровно неделя.

— По какому делу, если не секрет, простите за любопытство? — Калистратэ прекрасно знал о цели их приезда, но спрашивал, чтоб лишний раз убедиться в своей прозорливости.

— Мы из спорткомитета. Проверяли лыжные базы в ваших краях. Были в Агуриани, Хвамлети, Тремли и еще на новой базе, которая строится, как ее там? — посмотрел он на коллегу.

— Самкаро, — не открывая глаз, ответил «французский актер».

— Да, в Самкаро.

Внимание Калистратэ все больше привлекал человек в берете. Он не вмешивался в беседу и даже словно бы дремал. Казалось, его не интересовало происходящее вокруг, но на все вопросы Максимэ он отвечал быстро, не раздумывая.

«Если я спрошу, как прошла проверка и остались ли они довольны ревизией, с моей стороны это будет нескромностью и даже проявлением невоспитанности.

Максимэ не похож на человека, который что-то может утаить. Ровно через две минуты он заговорит сам. Я подожду».

И правда, минуты две Максимэ ждал вопроса, а затем, взяв его под руку, начал:

— Для нас эта командировка оказалась полезной. Немного развеялись. Оставили свои кабинеты, прошлись по свежему воздуху. Ну, и больше ничего. Глупости все это. Совсем напрасно ткнулись туда-сюда и все. Мы не были нужны тем, кого проверяли, а тем, кому мы везем материалы проверки, не нужна правда. Из нас сделали шутов. Пока мы готовили наши заключения, в комитет уже позвонили и сделали «все, что нужно». Если мы скажем то, что видели, нам еще выговор могут вlepить за «тенденциозность». Но и мы не дураки, чтоб биться головой об стенку. Напишем не то, что есть, а что, мол, в основном все хорошо, но имеются некоторые недостатки. Такая правда устраивает и тех, и других.

Разумеется, вы знаете, что после Копа Брегвадзе в этом виде спорта не было большого спортсмена. Не родился, вот и все, говорят журналисты. Но ведь не так обстоит дело: после того как родится, он должен еще вырасти. Времена изменились. Когда-то Копа Брегвадзе прыгал на лыжах, выточенных им самим, а для ремонта трамплина тащил доски из собственного дома. Слава богу, сейчас у нас не один трамплин и условия в Агуриани, что надо. А у молодых, начинающих спортсменов нет поддержки. Если случится чудо и упрямый мальчишка прыгнет, как говорится, выше себя, и одним талантом достигнет небольших успехов, потом держись, сколько няnek у него появится. А эти таланты не днем с огнем нужно искать. Как я вам уже говорил, в республике три лыжные базы: Агуриани, Хвамлети и Тремли, а Самкаро строится сейчас. Следовательно, только мальчишки трех маленьких деревень имеют возможность попытаться счастья в горнолыжном спорте. А остальные? Остальные лишены возможности тренироваться. Как, спросите вы, каким же образом столько сборных: сборная города, сборная республики и множество других «сборных»? Никаких сборных не существует. Поверьте, все они состоят из мальчишек этих трех деревень. Почему, спросите вы? А потому, что горно-



лыжным спортом, как и любым другим видом спорта, нужно заниматься со школьной скамьи. В школе же зимние каникулы продолжаются всего двенадцать дней. Остальное время «спортсмены» сидят за партами в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Ткибули и т. д. Но и в те несчастные двенадцать дней наши спортивные базы забиты детьми «ответственных» родителей (ни у родителей, ни у детей и в мыслях нет связать свою будущность со спортом). Так что для талантливых будущих спортсменов и в те двенадцать дней нет места на наших спортивных базах. Какой спортсмен может вырасти в таких условиях? Шестнадцатилетние финны, австрийцы, немцы поражают своими успехами мир. Спросите, где они учились прыгать с трамплина? Вам ответят, что занимались они в спортивных школах-интернатах, существующих на лыжных базах. Как они попали туда? Из общеобразовательных школ, из которых отбирают детей с природными данными и отправляют в спортивные школы-интернаты. Они там проходят и школьную программу и в то же время интенсивно тренируются. В Хвамлети собирались создать спортивный интернат, но ни один городской родитель не решился «принести в жертву» своего ребенка. Теперь посудите сами, как в таких условиях может вырасти спортсмен?

С другой стороны, тренер вам, вероятно, видится преданным отечественному спорту, бескорыстным человеком, который, закончив даже экономический или юридический факультет, остался верен спорту, взялся за такое «чистое» дело, каким является тренерство. Но это большая редкость, и ваш взгляд на тренера несколько устарел. Не стоит обольщаться на этот счет. Сегодня к спорту примазалось много дельцов. Какие деньги можно сделать в спорте, спросит наивный человек. Как звали директора базы в Тремли? — Максимэ посмотрел в сторону человека в берете.

- Шамиль.
- Шамиль, а фамилия?
- Хубашвили.
- Да, Шамиль Хубашвили, — Максимэ рассмеялся. — Посмотреть, похож на находящегося на отдыхе лесного разбойника. Пять лет ему смело можно дать только за внешность. Он говорил с нами так, будто мы в чем-то провинились перед ним и эта ревизия не ко-

времени отвлекла его от важного дела. Что делает Хубашвили? Не будем говорить о том, что он превратил спортивную базу в гостиницу и в ней отдыхают теши и детки «больших» людей. Это совершенно нетрудно увидеть. У Шамиля (и не считайте его исключением, на всех базах происходит то же самое) оформлено до семисот спортсменов. Эти спортсмены в большинстве своем — мертвые души. В действительности же на трассе-трамплине в Тремли вряд ли встретите десять-двенадцать спортсменов. А где остальные, спрашиваю? Заболели, разбрелись кто куда, отвечает Шамиль. Это не безобидная директорская ложь. На тех семьсот спортсменов Шамиль получает продукты, спортивный инвентарь, на них выделены штаты тренеров и обслуживающего персонала. Продукты сами знаете куда деваются, спортивный инвентарь продается по спекулятивной цене в любом переулке в Тремли, а зарплату сорока тренеров делят меж собой уважаемый Шамиль и трое уставших от безделья тренеров базы. Видите, что делается? Еще раз напомню, что Тремли это не исключение. То же самое происходит на многих спортивных базах нашей страны и не только горнолыжных.

— И что же потом? — У Калистратэ от волнения задержалась левая бровь.

— Что потом?

— Ведь в ваших силах разоблачить все это!

— Кого разоблачить? Что разоблачать?

«Фернандель» тихонечко засмеялся про себя.

— Что в первую очередь разоблачать? — продолжал Максимэ. — Я же сказал вам, что в данном случае исключение составляют именно честные тренеры и директора баз. В самой системе спорта, в его основе заложена эта неорганизованность, и она имеет и другие причины. Причины эти я вам не назову, простите, я не настолько близко вас знаю. После этого разоблачай тренера, который получает зарплату за двоих, присваивает ежедневный рацион спортсмена и грешен тем, что предназначенные для них лыжи и очки продает на «черном рынке»! Ну, снимут такого тренера, арестуют такого директора, как Шамиль, придет порядочный, честный директор... И что же, по-вашему, изменится? Так пишут только незрелые репортеры. Мы же достаточно научены жизнью, чтоб не попадаться на эту удочку. Мы

не такие ревностные ревизоры, чтоб на нашем материале дать нашему заведующему отделом возможность заработать деньги. Напишем так, как писали и раньше: «В общем все в порядке, но в работе горнолыжных спортивных баз можно отметить отдельные небольшие недостатки».

— А совесть?

«Фернандель» снова засмеялся.

— Какая совесть? — спокойно спросил Максимэ.

— Совесть, которая не даст вам покоя, не даст уснуть. Знаете, кого вы мне напоминаете?

— Кого?

— Вы не обидетесь? — Калистратэ отвел взгляд в сторону. — Вы мне напоминаете ворону из одной притчи. Хвост ее был опущен в навоз, а она, задрав клюв, удивлялась, дескать, откуда такой плохой запах. Почему вы не скажете правды? Но знаете, что я заметил? Вы рады, что так плохи наши дела в горнолыжном спорте. Вы уже поете ему отходную. Наверно, вам стало бы скучно, если бы в Хвамлети, Агуриани и Тремли все было в порядке.

— С чего вы взяли? — Максимэ взглянул на «Фернанделя». «Французский комик» дремал.

— Это видно из ваших слов, дорогой. Если все будут молчать, если никто не забудет тревоги, ведь день ото дня будет все хуже, все еще быстрее покатится вниз. Ведь когда-нибудь должно измениться положение дел. Должен ведь кто-нибудь в полный голос сказать обо всем этом. Кто-то должен разворошить угли. От чего мы все так устали? Кто-то должен ведь этим заниматься?

— Вы меня не поняли. — В голосе Максимэ слышалось сожаление. — Я не боюсь неприятностей. Я знаю, что не в силах что-либо изменить. Мою смелость окрестят сумасшествием и в один прекрасный день вообще запретят мне чирикать. Есть у нас такой опыт. Со стороны легко проявлять мудрость. Я на вашем месте сказал бы то же самое: ты, дескать, должен сказать, должен разоблачить, и только этим поможешь делу. В глубине же души я твердо уверен, что не сможешь!

— Но как же, человеку? С этой верой или, вернее, безверием ты проверяешь работу других? Если ты с

самого же начала уверен, что дело твое проклято богом, чего же ты ревизуешь и инспектируешь, уйди и уступи место другому.

— Кому? — Максимэ многозначительно улыбнулся.

— Тому, кто верит.

— Вы знаете, кто верит? Не знающий жизни желторотый юнец, который живет одними иллюзиями, смотрит в звездное небо и, покуда не споткнется, даже на каменистом берегу реки не заметит камня.

— Но он лучше вас, хотя бы потому, что скажет правду.

— Не верьте! Если я отступлюсь, именно тот самый юнец, который вам так нравится, спокойно положит себе в карман предложенные Шамилем Хубашвили пятидесятирублевые.

— Это вы так думаете, — Калистратэ почувствовал тугой комок в горле.

— Ну, скажи, разве это не так? — Максимэ призвал в свидетели своего друга.

И тогда «Фернандель», сдвинув берет на макушку, спокойно произнес:

— Уважаемый Калистратэ абсолютно прав.

Затем, снова надвинув берет на глаза, он привалился к креслу другим плечом.

Калистратэ внезапно заскучал. Он уже жалел, что псехал в Сардаки.

«С чего это мне вздумалось ехать? Что я там потерял? Можно подумать, там мне на грудь приколют розы, обласкают и отошлют обратно домой. Везде один черт, и повсюду одни и те же заботы. Кому я нужен в Сардаки? В гостиницах выклянчивать место... А мест нет! Не церемонясь, откажут в гостеприимстве. Кто вас звал, скажут. Объясняй теперь каждому болвану или легкомысленной дежурно-администраторше, что заскучал дома и потому приехал. Объясняй... А они вдруг да не поймут, не войдут в твое положение. Я знаю, что вконец изведусь в Сардаки, вместо того, чтобы успокоиться. Лучше прямо из аэропорта уехать обратно домой. Вот прилечу и первым же рейсом обратно. Да, я так и сделаю».

После того, как стюардесса объявила, что через пятнадцать минут самолет приземлится в аэропорту



№ 2 Сардаки и попросила пристегнуться к креслам, прошло добрых двадцать минут.

Самолет то входил в густой туман, то снова поднимался над облаками. Погода, видимо, испортилась. Над летным полем стоял густой туман и самолету не давали разрешения на посадку.

Страх овладел Калистратэ Панчулидзе.

«Какого черта я полетел! Так мне и надо, если попаду в катастрофу. Какого рожна понадобилось ему в Сардаки, скажет мой директор. Летчики, когда поднимались по трапу, были такими серьезными, с трудом тащили туго набитые портфели. Наверное, чем-то промышляют, бедолаги. Разве можно рассчитывать на них? Наверняка вышел из строя какой-нибудь прибор или главный пилот и диспетчер матерят друг друга: «Лети в другой город, видимость плохая — не сможешь сесть», — говорит диспетчер. «Где у меня горячее, чтоб лететь еще куда-то? Не могли вовремя сообщить, если погода менялась?» — отвечает пилот.

Короче, здесь кончается твой жизненный путь, Калистратэ Панчулидзе. Видно, так было тебе на роду написано».

Самолет еще раз нырнул в облака, летел какое-то время, а затем, словно передумав, снова стал набирать высоту.

«Горячее кончается...»

«Не работает прибор, измеряющий толщину облаков...»

«Вышел из строя измеритель высоты...»

«Вот сейчас мы услышим душераздирающий вопль стюардессы:—Погибаем!..»

«Вот сейчас мы грохнемся оземь...»

«Хотя бы умереть, не мучаясь...»

«Вот сейчас... вот сейчас... вот сейчас...»

Но прорицатель ошибся.

«Ту-156» целым и невредимым приземлился в аэропорту № 2 Сардаки.

Перевод Наны ДВОРАКОВСКОЙ

С утра у него дергался правый глаз.

От этого, собственно, он и пробудился чуть свет. На часах не было еще и семи. Он натянул одеяло на голову и уткнулся в стену в надежде уснуть. Напрасно!

Чем больше он пытался отдаться Морфею, тем мучительнее протрезвлялся. Из утреннего тумана сознание бешено переливалось в реальность, в которой с калейдоскопической быстротой перемешивались яркая реклама столицы Японии, двухэтажные эстакады, бесшумные и нежные, как шелк, японки. На каждом шагу вежливое «моси-моси» и сильнейшее из чувств — тоска по родным местам.

Отчаявшись уснуть, он решил немножко поупражняться. Откинул кимоно на постель, сунул ноги в кожаные шлепанцы, юркнул в ванную, показал зеркалу язык и долго вглядывался в него. «Что за черт... опять побелел. И с чего? Улиток вчера вроде не ел».

Он с треском сорвал со стакана обертку, подставил его под кран и набрал в рот густо отдающей хлором воды. С бульканьем ополоснул горло и выплюнул.

Потом долго промывал надоевший и раздражающий глаз.

Дерганье не прекращалось.

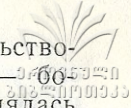
Завещал телефон.

—Слушаю вас, любезная Элеонора!

Никто другой звонить, пожалуй, не мог.

Элеонора, как верный утренний страж — петух, звонила ему каждое утро. Эта женщина сопровождает их из Квавети, прекрасно знает японский, работает переводчиком и вообще интересная особа, но его, Герасима, убивает ее подчеркнутая официальность. Говорит немислимо самоуверенным тоном и порой берет на себя такие функции, которые далеко выходят за рамки обязанностей переводчика.

В официальных бумагах отмечено, что в делегацию фармацевтов, отправляющихся в Японию на две недели по приглашению местного отделения международной ассоциации, входят всего два члена — Василий Плиев и Герасим Пагава. Элеонора в делегацию, не входит



и по своему положению должна была бы удовольствоваться статусом чиновника низшего ранга, но — боже мой! — тотчас по прибытии в Токио она принялась действовать так энергично, что — невозможно не заметить! — заставила двух заслуженных фармацевтов плясать под свою дудку, и — представьте! — благодаря прикрытой флером решительности и самонадеянности этого достигла мгновенно.

Василий с первого же дня смирился и подчинился, но Герасим, можно сказать, взбунтовался. Василий был не только уживчивый, но и самолюбивый, и эти свойства стали для него просто находкой. По этой (и по некоторым другим) причине Василий и Элеонора быстро подружились, Герасим же остался в стороне.

Сразу по прибытии началась суета и так до сих пор не прекращается. Бесконечные разговоры — на эскалаторах метро, в такси, на заседаниях фармацевтического общества, на официальных и неофициальных банкетах. Будто никого и ничто вокруг не замечают. Приникнут друг к дружке и шепчутся, шепчутся. Василий полностью отдается беседе, Элеонора же успевает делать и главное дело — представляет делегацию хозяевам, произносит патетические речи, уютно устраивается на полу на плоской подушке и то и дело поворачивается к Василию. Вежливые японцы, чтоб не беспокоить переводчицу, или помалкивают, или на ломаном английском с помощью мимики (это первобытное средство общения Герасиму как-то доступно) пытаются дать понять грузинскому фармацевту, что рады принять его у себя и будет неплохо, если он и в будущем году посетит Страну восходящего солнца.

— Вчера вы высказали желание посетить Асакусу. Так вот, через пятнадцать минут за вами зайдет девушка-гид и, если вы не передумали, сопроводит вас.

Вчера в полдень состоялась встреча с президентом одной из крупных фармацевтических фирм. По окончании аудиенции прошли по улице. До обеда оставалось полчаса, и Герасим остановился у огромного храма за углом. Фармацевта интересовали древности, он хотел уже было спросить, что это, но японцы опередили его — это, мол, Асакуса, буддийский храм четырнадцатого века, а всего в Токио до двадцати таких храмов.

— Подойдем поближе, — осторожно попросил Герасим у спутников, но тут же осекся, потому что Элеонора безапелляционно отрезала: мы идем в ресторан, уважаемый Герасим, сейчас не до экскурсий, и вообще прошу в мои функции не вмешиваться, вы ведь знаете — каждая минута расписана.

Представитель фирмы тотчас заметил, что между членом делегации и переводчиком идет перепалка по поводу Асакусы, и обратился к Элеоноре: подойти, мол, поближе не составляет никакого труда. Но отступить было не в правилах Элеоноры. Герасим, что и говорить, иностранными языками владел не особенно, а японского так и вовсе не знал, но мимика и интуиция объяснили ему все. И вот отзывчивые хозяева сегодня хотят ему показать Асакусу.

— Да что ж передумывать-то? Времени-то уже не остается?!

— Кабы знала, сразу бы не согласилась, — вздохнула как бы с сожалением Элеонора.

— В котором, стало быть, часу мы выезжаем? — Герасим знал, что из гостиницы они выходят в час дня, но на всякий случай поинтересовался.

— В час. В два нужно быть в аэропорту.

Багаж уже собран. В три часа из аэропорта Нартия взлетит лайнер и возьмет курс на родину.

— Нужно было сказать, что вчера интересовался, а сегодня уже не интересуюсь. Мы и так очень беспокоим этих людей.

— Но если вы не пойдете, они обеспокоятся еще больше. Неудобно! Поезжайте на метро. Успеете. Два часа — туда и обратно. Без четверти час мы будем ждать вас в вестибюле. Приготовьтесь, вот-вот появится эта девушка.

— Что за девушка? — равнодушно бросил Герасим. Собственно, не все ли равно, как его будут сопровождать в Асакусу.

Он побрился, принял душ, прихорошился и выглянул в коридор.

«Наверное, эта», — подумал он, когда мимо него, стуча каблуками, торопливо прошла невысокая японка и осторожно позвонила в дверь номера Элеоноры.

Спустя несколько минут фармацевт с гидом-японкой, не совсем, правда, в ногу, бежали по Гинзе.

10000000000

Высокий, долговязый Герасим шагал, как утомленный марафонец, раскачивая перекинутую через плечо сумку, правой рукой раздвигая текущую рекой толпу и стараясь не отстать от японки.

Она же, маленькая, но прелестно пропорционально сложенная, семенила, так мило раскачиваясь, как умеют одни только японки. Она знала несколько предложений по-русски, и Герасиму удалось выяснить, что зовут ее Мицуки, что родители ее проживают в Киото, что из материальных соображений, а также с целью поупражняться в переводе, она помогает японским фирмам, связанным с Советским Союзом. В ответ на вопросы Герасима она сперва широко улыбалась, потом выдергивала из прижатого к груди ридикюля крохотный словарик, уточняла кое-какие слова и после каждого ответа по нескольку раз извинялась. Да что извиняться, подбадривал ее Герасим, вы прекрасно изъясняетесь, но было явно заметно, что Мицуки комплиментам не верит.

В конце Гинзы Мицуки подбежала к электротабло у остановки автобуса, нажала пальчиками на несколько зеленых светящихся пуговиц, видимо не удовлетворилась ответом, попросила подождать и подбежала к полисмену в центре площади. Полисмен покосился на нее и отвернулся. Девушка, мягко покачивая бедрами (как японские красотки из мультипликационных фильмов), вернулась к Герасиму, опустилась у лестницы на колени, нажала на кнопку уличной схемы, и они оба в нее уставились.

— Где мы сейчас, Мицуки, находимся? — поинтересовался Герасим.

— Вот здесь, — карандашом показала Мицуки.

— А где эта самая Асакуса?

— Вот, — очертила девушка кружок на противоположном конце схемы, на самом краю города.

— Но на какой она улице?

— А в Токио у улиц названий нету, — устало улыбнулась Мицуки.

— Да ну?

— Здесь улицы пронумерованы. Только Гинза зовется Гинзой. Потому что главная улица.

— Ну, да ладно. Все равно! На каком номере стоит Асакуса?



— На пятьдесят седьмом.

— Ну и что нам мешает?

— Да ничего. Я спросила у полицейского, как туда добраться короче, а он не ответил.

— Почему?

— Говорить ему нельзя, не разрешается. Движение регулирует.

— Ну и что? Найдем такого, который сумеет помочь нам.

Приветливо и благодарно, будто услышав великое откровение, Мицуки улыбнулась, сложила схему, сунула в сумочку и пошла вверх по тротуару.

Долго искали полисмена, но в отличие от других капиталистических стран (где полицейских встретишь буквально на каждом шагу), блюстителя порядка в Токио оказалось найти не так уж и легко.

У фонтана заметили чиновника в черной шапочке, радостно бросились к нему:

— Ай, дозо! Уважаемый!

— Ай, ай, — поднес тот руку к шапке.

Мицуки долго объясняла ему свои затруднения, вытаскивала схему, показывала изображение на ней Асакусы, но по грустному голосу девушки Герасим догадывался, что страж порядка ничем ее не обнадеживает. Но только Мицуки обратила к нему идущее из самого сердца «аригато» — «спасибо» и засеменила обратно, как страж порядка двинулся за ней и, просияв, что-то протараторил по-японски.

Обрадованная Мицуки снова схватилась за схему, и они уселись у фонтана.

— Аи... аи... аи... — поминутно соглашалась Мицуки и кое-как отвертелась-таки от отзывчивого помощника. Только они пересекли улицу и пошли вниз по лестнице, как полисмен снова нагнал их, снова попросил извлечь схему и повторил свои объяснения.

Минут через десять они мчались в поезде метро. Мицуки вглядывалась в разостланную на коленях схему, а припавший к окну Герасим внимательно изучал на каждой станции плакат с сидящей глубоко в мягком кресле вагона мартышкой и молча и задумчиво стоящих японцев.

Фармацевт, чего греха таить, не без зависти про-
вожал взглядом спующих по эскалатору токийцев, пре-
красно знающих, куда и зачем направляются.

Часы показывали половину двенадцатого.

— А вообще-то, между нами, может, и не стоит гля-
деть эту Асакусу, раз она так далеко, — несмело обра-
тился Герасим к Мицуки.

— Нет, нет, Герасим-сан!—встрепенулась Мицуки.—
Это недалеко. Мы просто сбились с пути. Это не та
станция. Я сама никогда здесь не бывала. Простите
меня, сан, простите.

— Ну, что ты, Мицуки, конечно! — погладил Гера-
сим ласково девушку по руке.

Они проехали еще одну спящую обезьянку и вышли
из вагона.

Пробежав длинный коридор, устремились к билете-
ру с огромными кусачками для пробивания билетов, и
выяснилось, что сошли рано, что нужно проехать еще
целую остановку, потому что у них билет не до Старой,
а до Новой Хурам.

Вернувшись к вагону, они добрались-таки до своей
станции.

У перекрестка повернули направо, пересекли сквер
и оказались на маленькой площади с афишами цир-
ка. Мицуки подлетела к электротабло, поиграла паль-
чиками на клавишах, чуть не со слезами на глазах
спросила что-то у стоящей рядом японки, и когда через
две минуты вокруг нее собрался плотный круг отзыв-
чивых граждан, у Герасима екнуло сердце.

Убедившись, что коллективное обсуждение ни к че-
му не приводит (между тем как кружок вокруг нее
становился все плотнее и разговорчивее), Мицуки выр-
валась из толпы и побежала к Герасиму.

Когда Герасим с лестницы в подземный переход ог-
лянулся назад, толпа все стояла на прежнем месте и
обсуждала проблему.

Переводя дух, Мицуки снова обратилась к своей
схеме, прислонила ее к авточистильщику, поднесла па-
лец к виску и задумалась.

— Успокойся, Мицуки, что же делать... бывает...
Сейчас половина двенадцатого, вернемся назад, и все-
го-то дел! — начал Герасим.

— А Асакуса? — в узких глазах девушки застыло отчаяние.

— Н-ну... скажем, что побывали... что очень понравилось. Бог с ней, с Асакусой. Поедем в такси назад. Так лучше для дела.

Девушка не сразу усвоила, что это значит — скажем, что осмотрели, — но в тысячный раз бросила взгляд на часы и, даже не складывая схемы, подхватила Герасима за руку, и они вместе вбежали в ворота под желтой аркой. Внизу эскалатора в бамбуковом домике, нахолившись, как сова, сидела немолодая японка.

Мицуки взволнованно что-то у нее спрашивала, а она спокойно передавала ее вопросы по микрофону.

— Что ей нужно? — спросил Герасим, когда они снова оказались на эскалаторе.

— На такси, говорит, не успеете. Вот-вот начнется час пик, — дрожащим голосом пролепетала Мицуки. — Бежим на метро.

— Ну и бежим. В чем же дело?

— Ни в чем. Сейчас попробуем найти эту станцию. Подождите здесь...

Но Герасиму было не до ожидания. Пару раз брал ее за руку и тащил за собой, невзирая на красный свет. Мицуки полностью покорила ему и, плача, просила прощения.

Когда они в третий раз оказались на площади с огромным портретом Жана Габена, Герасим понял, что они заблудились.

Было без двенадцати час. Время бежало неумолимо.

Мицуки кусала губы, размахивала схемой и обращалась к прохожим таким затравленным голосом, что они останавливались и выражали ей сочувствие.

Кто-то вытащил бумагу и принялся собирать подписи. Герасим понял, что они необходимы для сохранения репутации Мицуки как гида.

Фармацевт собрался с последними силами, чуть не силой посадил дрожащую девушку на тротуар.

— Сядь, говорю, сюда. Что в конце концов случилось? Мир, что ли, перевернулся? На тебе лица нет. Вытри слезы и вытаскивай эту проклятую схему. На какой мы сейчас площади?

Но схему разворачивать не пришлось. Полисмен разорвал круг, оказался между Герасимом и Мицуки, подхватил обоих за руки и повел к желтой машине.

Спустя минуту они мчались на полицейской машине по улицам Токио. Сирена ревела, «Тойота» пробивалась через толчею с немалым трудом благодаря устным переговорам водителя с проезжающими рядом.

Мицуки забилась в угол и всхлипывала, как наказанный за шалость ребенок.

У Герасима все внутри дрожало, но внешне он держался спокойно, с напускным равнодушием следил взглядом за аккуратными японцами с сумками в руках, спешащими по своим делам.

В аэропорту «Нарита» им сказали, что ИЛ-64 маршрута Токио—Москва улетел пятнадцать минут назад.

Герасим Пагава заявил работникам аэропорта и всем заинтересованным лицам, что опоздал по уважительной причине, что при осмотре Асакусы ему стало дурно и он не мог продолжать путь.

В письменном показании, которое он с согласия официальных лиц написал по-русски, настойчиво утверждалось, что отзывчивая японка Мицуки в опоздании не виновата, она делала свое дело точно, и все произошло по не зависящим ни от кого причинам.

...Когда самолет набирал высоту, к красной, как перец, Элеоноре подседа стюардесса и принялась расспрашивать об оставшемся пассажире.

— Он вел себя как-то странно, был какой-то замкнутый, но что он способен на такое, я представить себе не могла, — громко, чтоб слышали окружающие, отвечала переводчица.

Стюардессе в общем-то вменялось в обязанность обслуживать пассажиров, остальное ее не касалось. Просто она была любопытная и чуть болтливая девушка.

Герасим вернулся через неделю. Как это произошло и что было с ним дальше — тема другой новеллы, а я и так наскучил читателю.

Перевод М. БИРЮКОВОЙ



Нугзар ШАВГУЛИДЗЕ

ДОБРОТА

— Не губи меня, Кукарача!.. Кто мне поверит, что не я выдала его милиции?! Умоляю тебя!.. — Она припала горячими губами к руке лейтенанта. — Отпусти его!.. Будь мужчиной! Сжался надо мной! Отпусти его, если не хочешь увидеть меня с перерезанным горлом!

— Да ты что?! Из-за кого ты унижаешься? Из-за этого подонка? Встань сейчас же!

— Нет, Кукарача! Ты не знаешь их законов! Убьют, зарежут меня! Заклинаю тебя матерью, отпусти его! Пусть уйдет из моего дома невредимым!

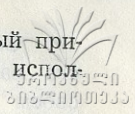
— Инга, о чем ты говоришь?! Я ведь не личное, а государственное дело выполняю! Как же я могу отпустить его?!

— Покончу с собой, Кукарача! Клянусь!

Кукарача понял, что Инга сейчас способна на все. Он не был железным, он был обыкновенным человеком — лейтенант милиции Георгий Тушурашвили. И человек не устоял перед горем человека. Он достал нож и разрезал узел на руках Муртало.

— Иди! — сказал Кукарача».

Лейтенант милиции по прозвищу Кукарача (повесть Нодара Думбадзе «Кукарача») отпустил на волю пойманного им бандита по просьбе его возлюбленной. Этот поступок может быть расценен обывателем как возмутительное своеволие. По мнению непосредственного начальника лейтенанта Тушурашвили, Кукарача злоупотребил своим служебным положением и правами, нарушил профессиональную этику. На взгляд бандита Муртало, удивленного свалившейся на него словно с не-



ба свободой, «фрайер» Кукарача подписал себе смертный приговор (который, как мы помним, Муртало и привел в исполнение).

Но, немного опередив события, отметим и то, что мотив такого поведения Кукарачи «закодирован» в его же словах: «Лично мне кажется, что возвращение Инги к нормальной жизни гораздо большее дело, чем поимка Муртало».

И поскольку вышеприведенные слова объясняют столь странное решение участкового инспектора — освобождение пойманного рецидивиста по просьбе женщины сомнительной репутации — как «стандартную доброту», с Кукарачи снимаются все предъявленные ранее обвинения и его действия квалифицируются как «преднамеренные». Этот поступок Кукарачи доказывает, что основным модусом его личности является доброта. Тривиальный, на наш взгляд, вывод, но он вовсе не означает, что в основе этого произведения лежит уже поднадоевшая, знакомая схема торжества добра. Правда, толчком к решению Кукарачи послужила доброта — эта традиционная черта характера думбадзевского персонажа — но надо отметить и то, что герой повести сознательно выбирает доброту как оптимальную форму самовыражения.

В ранних произведениях Думбадзе доброта — это существующая независимо от их героев, не имеющая ни начала, ни конца абсолютная величина, в «Кукараче» же, как уже отмечалось, она сознательно избрана основой моделирования мира. Исходя из этого, если герои романов «Я, бабушка, Илико и Иларион», «Я вижу солнце», «Солнечная ночь» в своем отношении к окружающему кажутся беспечными и даже безответственными (о том, что существует само по себе, не надо заботиться, не надо нести за него ответственность), то Кукарача ответственен за созданный им по собственному выбору мир, за его судьбу.

Как говорил Д. Узнадзе: «Выбор уже есть потребность, более того, каким бы целесообразным ни казалось человеку то или иное возможное решение, он примет его только в том случае, если согласует со своим внутренним «я».

Таким образом, выбор и ответственность составляют некое диалектическое единство — насколько свободен человек в своем выборе, настолько ответственен он за конечный результат, поскольку свободный выбор — первый импульс силы, влияющей на окружающий мир, и при реализации его с особенной четкостью проявляется реальная ценность этой силы.

Сознательный выбор добра героем повести стал формой его самоутверждения. Правда, человек бывает ограничен в своем выборе, но поскольку обусловленные свободной волей его поступки оказывают определенное воздействие на окружающий мир, позитивно либо негативно изменяя его, он должен контролировать свои действия и желания, чтобы «не выпасть» из структуры социальных отношений. Мы можем принять свободный выбор человека только в случае, если он «регламентирован» социальной ответственностью.

Как видим, в последние годы в творчестве писателя произошел качественный перелом, и «чистая» морально-этическая категория добра приобретает социальные мерки. Направленная этой «скорректированной» моделью добра свободная воля Кукарачи, диапазон его свободного выбора находится в той системе социальных отношений, «включение» в которую является для него не только внутренней потребностью, обусловленной социальной ответственностью, но и оптимальной формой самовыражения. Но такую «согласованность» с социальным окружением мы не должны понимать как вынужденную для Кукарачи, напротив, на фоне смоделированного им мира определились нравственные, морально-этические и социальные позиции Кукарачи, его выбор получил объективную реальную оценку и, естественно, перестал казаться стихийным: «Мне часто приходится следить, как шпиону, за детьми: как бы не подрались, не попали в беду, не стянули чего-нибудь. Быть может, они и ненавидят меня, но что делать? Стараюсь из любви к ним, и только! А ведь я мог стать отличным хлеборобом или кузнецом!..»

Так что реально оценивать выбор Кукарачи следует не только «социологизированной» категорией добра, а и теми требованиями конкретно-социальной среды, которая, со своей стороны, формирует систему морально-этических, нравственных категорий, определяющих сознание общества.

В повести можно выделить и другой, если можно так выразиться, контрапункт проблемы выбора и ответственности личности, и, как это ни парадоксально, поскольку речь идет о бандите Муртало, формой его самоутверждения также является добро. Писатель не дает нам биографии Муртало, он предстает перед нами уже рецидивистом, объявленным во всесоюзном розыске, но его жизненная «философия» ясно свидетельствует о том, что его выбор также сознателен: «Я вольный человек, делаю, что хочу, как хочу и когда хочу».

Разумеется, в основе такого свободного выбора добра лежит гедонистическая концепция, и, естественно, в условиях ничем не ограниченного стремления к индивидуалистическому добру в моделированном субъективными ощущениями мире этот выбор лишен социальных основ, и поэтому человек не несет никакой ответственности за него — ни социальной, ни нравственной. Комплекс проступков — «ничего не является преступлением, никто не отвечает за свои действия» порождает полную безответственность, которая может быть охарактеризована как проявление «зоологического индивидуализма» аморальной, а следовательно асоциальной индивидуалистической позиции.

Стихия вседозволенности, неконтролируемый морально-этическими и социальными категориями свободный выбор порождает «сверхчеловека», управляемого единственно инстинктом удовлетворения собственных желаний и потребностей. Для «сверхчеловека» социальное окружение, народ — это «разреженная» среда, которую он заполняет собственными морально-этическими нормами: «Люди — толпа. Завтра они будут валяться у тебя в ногах, объеят тебя, как Марию Магдалину, святой».

Поэтому индивида, который высшее добро видит в удовлетворении собственных эгоистических потребностей, нужно изолировать от социально-общественной среды. Для такого человека включение в систему социальных отношений означает потерю свободы, согласованности действий со своим «я».

До эпизода, приведенного в начале этой статьи, характеры Кукарачи и Муртало, пути и возможности их самовыражения развивались независимо друг от друга, без конфликта. Для проверки жизненности их принципов писатель использовал третий, «неконцептуальный» персонаж в этом традиционном треугольнике — Ингу, которой тоже предоставлено право выбора между двумя полярно противоположными концепциями добра.

Добро Муртало и его реальное воплощение имеет свою привлекательность для женщины, не имеющей твердых морально-этических и социальных принципов. Муртало импонирует ей своей «артистичной» небрежностью, «великодушием», таинственной романтикой («Инга стала замечать, что ребята квартала — постоянные ее поклонники — при встрече с ней улыбаются какой-то неестественной улыбкой и проявляют к ней преувеличенное уважение»), поэтичностью («Хотите, прочитаю вам Гумилева? Или Есенина? Может, предпочитаете

Галактиона?»), проявлением столь исключительного на фоне серых будней внимания («...А мог бы ты преподнести своей возлюбленной каждый день по корзине красных роз? Мог бы ты посылать женщине ежемесячно тысячу рублей? Можешь ли ты явиться хоть с того света, чтоб поздравить любимую женщину с Новым годом и днем рождения?»).

Столь «блестящее» проявление мещанско-обывательской «всемогущей» доброты по сути своей грубо материально и имеет конкретно-предметные, вполне земные измерения.

Доброта же Кукарачи «скучна», «не нужна» («Вы ошиблись, товарищ Кукарача! Мой супруг — первый секретарь райкома партии, ничего общего с милицией у нашей семьи нет и быть не может, я сама пока еще жива и ни в чьей помощи в воспитании своего сына не нуждаюсь!..), порой назойлива и даже «неблагодарна» («Шпион ты, Кукарача, шпион! Доносчик! Ненавижу, ненавижу тебя»). На фоне «доброты» Муртало она неромантична и прозаична («Как я могу послать тысячу рублей, если у меня вся зарплата—восемьсот»). Мещански-обывательская доброта Муртало звучит как «обвинение» «называемой» «скучной» доброте Кукарачи. И несмотря на то, что согласованная с внутренним «я» доброта Кукарачи лишена романтического ореола и бющего на эффект альтруизма, «земные» корни ее оторваны от конкретно-предметных измерений. Она предстает силой, преображающей внутренний мир человека, а в более широком плане, более обобщенно является одним из основных компонентов «закона вечности». Иллюстрацией жизненности ее является духовная метаморфоза Инги. Из обывательницы, руководствующейся исключительно конкретно-материальными категориями, она превратилась в личность со своими морально-этическими и нравственными принципами, о существовании которых она узнала благодаря «надоедливой» доброте Кукарачи.

Можно сказать, что в «Кукараче» с большей или меньшей ясностью проявились два стереотипа свободного выбора как оптимальной формы самовыражения — социологизированная модель морально-этической категории добра и его же асоциальная, индивидуалистически-гедонистическая концепция. Приемлемость их определяется мерой ответственности за конечный результат действий, обусловленных этими концепциями, их общественной ценностью. И можно утверждать, что выбор добра как формы самовыражения только тогда имеет реальную ценность, когда к продиктованным этим выбором действиям можно подойти с социально-ценностными мерками.

В КРУЖЕНИИ ВЕЧНОМ...

Течение вод реки, бесконечное, как жизнь; огонь очага с его вечным хранителем — мудрой и доброй бабушкой; шум мельничных жерновов, бескончаемый, как нужда в хлебе... На этом фоне любят, страдают, тоскуют, надеются герои Отиа Носелиани. Преходящее и вечное. Преходящи мечты, любовь, привязанность, но вечно желание человека осмыслить свою жизнь. Несоответствие между миром реальным и тем, каким мы его себе представляем, обращает нас к мыслям о сущности и смысле бытия. Доискивается смысла жизни сельский учитель истории Парна (повесть «Черная и голубая река»). Не выпало на его долю великой любви, о которой когда-то мечтал, не довелось построить дивных замков, коими жаждал порадовать род людской, не реализовалось и стремление стать ученым-историком. Но желание разгадать тайны прошлых веков и их связь с настоящим обострило внимание к нравам своего народа, преемственности характеров, традиций рода, семьи. С чего началось противостояние Парны жене? Не с того ли, что сыновья больше привязаны к матери — с ней проще, она от них ничего не требует, просто любит слепой любовью. Инстинктивной любви к детям Парне недостаточно. Кто прав? Мать, которая в «этом мире ничего кроме детей не помнит и не видит», или он, который во всем хочет докопаться до высшего смысла? «Откуда совесть моя?» — размышляет Парна. Обращаясь к памяти предков, он обнаруживает сходство характеров и направленности мыслей деда и младшего сына. Ушедшее поколение будто оставило его додумывать свои мысли. Дед «на бумаге не написал, на камне не высек, а оставил. Где-то прямо на земле. Или в воздухе. Или на солнце». Все повторяется — «нет ни начала у человеческой мысли, ни конца, нет ей пределов». Извечно ищет человек осмысляющую жизнь идею. Он беден, если нет ничего выше его. И мир страшно скуден, если нет возвышающей его сущности. Потребность в общении с бесконечным, выво-

дящим нас из ограниченного местом и временем существования, — потребность разума. Не потому ли у людей есть представление о том, как должен быть устроен мир, а вера в него не есть ли мысль о его торжестве? Справедливость — непреложная данность. Для Парны и его семьи начавшаяся война — за пределами понимания. Мобилизованному на фронт старшему сыну, агроному, грозит трибунал — он пытался уехать к опытным саженцам туи и никак не мог взять в толк законы военного времени, ведь саженцы пора прививать. Как выстрелить в человека? — недоумевает младший сын, «он не понимал, с чего это вдруг появится парень, такой же, как он, и в лоб ему выпустит пулю». За пределами здравого смысла и то, что жгут хлеба, разрушают дома. Новобранцы не могут представить очевидность войны и смерти, даже когда над их головами сбрасывает бомбы немецкий самолет. Насильственная смерть — абсурд, с ней невозможно примириться.

Войну не на передовой, а в глубоком тылу мы видим глазами подростка в повести «Звездопад». В деревне, отстоящей на тысячи верст от линии фронта, хоронят солдата — хоронят его одежду и фотографии. Для тринадцатилетнего Гогиты, от имени которого ведется повествование, общность человеческой скорби равнозначна всеобщему разгрому, поражению. «Я видел смерть в деревне и до войны, и после нее, но то, что я увидел в тот день, не было похоже на то, что я видел раньше и после. Казалось, в этот день погибли все ушедшие на фронт, даже те, от кого всего неделю назад были письма, матери потеряли сыновей, навсегда высохло молоко в их груди; жены овдовели и покрылись черными платками, дети остались без отцов, и девушки потеряли любимых». Как ни старается Гогита помочь односельчанам разделить военную долю, он все-таки остается беспомощным свидетелем отчаяния и надежды. Он видит, как в старой заброшенной церкви распластавшаяся на холодных каменных плитах женщина просит богоматьер вернуть ей сына. Вдруг в запустении храма раздалось, как предзнаменование, «жуткое, леденящее душу карканье». Могильная тишина и страшное карканье черной зловещей птицы будто свидетельствуют о бессилии богородицы.

Нужно оставить человеку хоть искру веры в завтрашний день. Цепляется за призрачную надежду старик. Уводят на фронт его вороного коня, к которому он привязался, как к сыну (роман «Черная и голубая река»). Это не просто конь, это единомышленник хозяина, он чувствует, что у того на ду-

ше, болеет его болью, он и кнута-то ни разу не видел. Трудно расставаться с ним — не привыкнет вороной к другому хозяину. Старик нуждается в надежде, как женщина, проведшая на фронт сыновей, как невеста, простившаяся с возлюбленным.

Не только война лишает человека близких. Герои Отиа Иоселиани балансируют между жизнью и смертью, бытием и небытием и в мирное время. Умирает у Бэко жена (рассказ «Дочь мельника»). Один в пустом, продуваемом ветром доме он слушает шум дождя, смотрит на мигающий свет раскачивающегося фонаря и вспоминает. Дети выросли, выучились, живут в городе своими семьями. Чего стоило годнять их! Над бесконечными, заполненными тяжелой деревенской работой буднями проступает образ встреченной когда-то глубокой ночью девушки. Это — единственное событие в его жизни, которое никогда не забудется, оно стало сущностью Бэко, «кажется, что он помнит его со своего дня рождения». То было чудо. Как в сказке. У очага, куда заблудившегося ночью охотника привела дочь мельника, Бэко рассказывал о том, что всего лишь час назад свалил огромного медведя. Тогда год восторженным взглядом девушки он и сам в это верил. Писатель выстраивает над действительностью новую реальность, которая возвышеннее и правомерней действительности, ибо так должно быть.

Новая воображаемая реальность у Отиа Иоселиани присутствует некой незримой данностью, помогающей человеку преодолеть негосильные испытания. В автомобильной катастрофе погибли двое сыновей Левана — рослые черноусые молодцы (рассказ «Леван»). За ними ушла обезумевшая от горя жена. Ничто больше не связывало Левана с этим миром. Вживаясь в обстановку запустения некогда справного хозяйства, читатель тщетно пытается отыскать хоть какую-нибудь возможность, могущую вывести хозяина из оцепенения. Ко всему безучастен потерявший надежду человек; соседи отвели мычавшую от голода корову в свой хлев, быков на время забрал бригадир, а старый беззубый пес забился в угол на крыльце, «он изредка сипло вздыхал, а поздней ночью, когда деревенские собаки поднимали лай, отвечал им с крыльца протяжным заунывным воем». Как вернуть человека к жизни, если у него ничего не осталось, «кроме своих костей, сваленных на протертой циновке». Что можно сделать для него больше того, что делают друзья и родственники — приносить и оставлять еду на кухне. Заговаривать с Леваном не решались.

ведь он жил в другом мире, там, где подрастали его сыновья; учил их, передавал накопленный трудной жизнью опыт, подыскивал невест, справлял свадьбы, выбирал для внуков имена, ссорился с женой — ведь он был за все в ответе. «Никто не мог убедить, что нет у него уже сыновей и некому справлять свадьбу». Воображение путается с явью. Наяву мычали запряженные в арбу быки у ворот Левана, в воображении — отлучился от них старший сын: конечно же, шепчется где-то с дочкой соседа. Наяву бык терся мордой о локоть вышедшего во двор хозяина, в воображении — сын должен был вот-вот появиться, но его все не было. И Леван злился: «как только взойдет солнце, поднимется ветер, высушит все, и тогда лемех даже не зацепится за землю, где же этот мальчишка?». Наяву хозяин заменил на клещнях арбы прогнившую суконь, в воображении представилось, что сын уже в поле и ждет его, с ним такое бывало. Так, путая прошлое, настоящее и будущее, старик выехал в поле и принялся за привычную работу пахаря. Было мгновение прояснения — осознание страшной пустоты мира. Леван, обливаясь потом, спешил закончить вспашку до полудня — си нужен был земле. Заживо умерший старик поднимался над безысходностью, от провала небытия он отступал к ставшей за долгие годы его плотью плодоносящей земле.

Старый одинокий Леван выбрал жизнь, а молодая, всеми любимая женщина в повести «Жила-была женщина» предпочла смерть — «земля не носила ее, она была тяжела земле». Повесть начинается с описания безоблачного счастья главной героини: добрый, талантливый, любящий и любимый муж, прекрасный ребенок — трехлетний сынишка, почитающая невестку свекровь, которая взяла на себя тяжелую домашнюю работу. Чего еще желать женщине? Но как поведет себя женщина, если узнает, что другой человек стрелялся из-за безнадежной любви к ней? Что почувствует она при этом: жалость, угрызения совести, сочувствие, тщеславие?.. Неудавшееся покушение Джумбера сделало невозможным безучастность к нему Маки. Любовь Джумбера к ней началась со школы. Автор настолько участливо, можно даже сказать пристрастно, описывает безответную страсть худого, «шелудивого» старшеклассника в залатанной грязной гимнастерке, что читатель невольно ловит себя не только на сочувствии к нему, но и на том, что желает ему счастья! «Ее невнимание лишило его воздуха, права на существование». Тогда же, в школьные годы, Джумбер показывает себя не только любящим

страдальцем, но и мстителем. Желая во что бы то ни стало заявить о себе, он бьет девочку тяжелой книгой по голове. Может быть, тогда впервые и проявился характер героя. Одних безнадежная любовь учит смирению, другие вдруг начинают понимать, что и безответная любовь — радость. Случается, человек сублимирует страсть, обращаясь к творчеству, за что в конце жизни благодарит милостивую судьбу. Герой же О. Йоселиани собрал волю в кулак и решил выбиться в люди, не просто стать «не хуже других», а лучше. В его понятии это означало богатый дом, престижную работу и, уж конечно, машину. Джумбер хотел взять реванш.

После тяжелых трудов обретена наконец стартовая площадка: Джумбер — директор винного завода, есть у него и дом, самый заметный на улице, есть и светло-коричневая «Победа». Завидный жених. Казалось бы, и счастье близко. Но со времени школьных злоключений прошло много лет. Мака вышла замуж.

Подняться бы человеку над судьбой, сделать желание любимой выше своего, но Джумбер не так понимает жизненную победу. Не случайно автор много раз в описании героя употребляет слова: «настойчиво», «упрямо», «нагло», «маньяк», «идол», «кремень». Когда расчеты взять реванш не оправдались, Джумбер стреляется.

На краю жизни и смерти люди прозревают. Брезжущее сознание смертельно раненного Джумбера высветило наконец: люди добры к нему; в добром отношении окружающих тоже можно черпать радость. Однако тщетно читатель ожидает перемены в поведении героя. Сейчас, избавившись от комплексов детства никому не нужного чесоточного мальчишки, ему бы признать, что есть на свете правда выше и больше его желаний, хотя бы честь семьи... Грех отчуждает Маку от людей, дома, от самой себя. Самоубийство — освобождение, выход из казалось бы неразрешимой ситуации.

Авторское решение проблемы нельзя назвать произвольным, психологическое состояние героини в момент принятия решения показано убедительно. Тем не менее такой финал неожидан. Досаду вызывает некоторая замкнутость героинь на своей безысходной женственности. Три женских образа повести несут на себе один грех в трех ипостасях: подруга Маки, будучи неудачно замужем, завела возлюбленного, за что расплачивается неприкаянностью и одиночеством; Мэри — золовка — опозорена, потому что согрешила до свадьбы, сама Мака в отчаянии, из которого так и не нашла выхода.

Может ли писатель опередить время? И да и нет. Нет, потому что люди живут в условиях, обусловленных национальными традициями. Да, ибо он — художник. И до тех пор, пока девушка не вправе сама решить свою судьбу, мы не можем говорить о женщине как о личности.

При исследовании творчества Отиа Иоселиани обращает на себя внимание способность художника создавать очень разные характеры, ситуации, настроения. Если для Джумбера жизненным кредо было утверждение своего «я», то герой повести «Звездопад» Гогита в заботах о других забывает о себе. Подросток старается взять на себя обязанности всех мужчин, ушедших на фронт. Ответственность обязывает. Вчерашний ребенок видит мир глазами взрослого человека, в поле его внимания — старик, у которого не осталось корки хлеба, ополоумевшая с горя женщина, истощенные соседские дети. Как помочь людям? Беспощадный, суровый по отношению к себе, Гогита бессилен перед слабостью других — не мог он ударить укравшего сыр голодного брата, не мог оставить трясущуюся от страха женщину. Невольный грех с Пати становится бедой. Последние слова повести о том, что семнадцатилетний подросток стал отцом единственного ребенка, родившегося в селе за четыре года войны, как бы давят на героя своей тяжестью.

Тема деревенского тыла во время войны и рано взрослеющих детей военного поколения в грузинской литературе встраивается в тематику русской литературы. Повесть «Звездопад» вызывает ассоциации с романом Федора Абрамова «Три весны и два лета». В обоих произведениях мальчишки-подростки остались в деревне основной мужской силой, они же ответственны за семью, младших братьев, сестер. При некотором сходстве сюжетных построений у Ф. Абрамова и у О. Иоселиани совершенно отличны характерологические особенности персонажей, следовательно, разнятся и психологические мотивировки их раннего повзреления. Герой Ф. Абрамова сознательно принимает решения, все обстоятельно, по-мужички обдумывает, взвешивает. Молодость и желание радости часто вопиют против рассудительности, однако нужда военных лет снова и снова возвращает к необходимости служить опорой семье. Герой же О. Иоселиани по-детски непосредственно бросается чинить и затыкать все дыры в скудеющих хозяйствах своих односельчан. Жизнь расправляется с ним сразу, сразу переводит в разряд обремененных непосильными заботами мужей.

Такое ли уж это плодотворное занятие — искать сходство тем у разных писателей? Темы определяются временем. Спустя голтора-два десятка лет по окончании войны в русской литературе стала характерной тема повсеместного опустения крестьянских изб. Молодые уезжали в город, старики доживали в своих ветшающих домах. Отиа Иоселиани к такому переселению особенно чувствителен, очень уж он сжился с землей. Трудно представить героя О. Иоселиани покупающим в магазине фрукты, вино, хлеб. Замешанная и выпеченная своими руками кукурузная лепешка имеет особый вкус, запах. Читатель ощущает ценность каждой крошки. Так же и плод, выхоженный хозяином, не просто утоляет голод, а срачивается с землей. Уходящий на фронт новобранец у О. Иоселиани тоскует по кукурузному полю, виноградникам, волам, лошадям. Вол — основная тягловая сила в хозяйстве — становится чуть ли не членом семьи... Бык наделяется своим индивидуальным характером, и разговаривают с ним как с человеком; не каждому персонажу автор уделит столько внимания, не каждого опишет с такой образной наглядностью, как быка с его норовом и повадками. А вот на городские пейзажи писатель скуп. Человеку, никогда не бывшему в большом городе, покажется, что там, кроме застятых небо каменных коробок домов, запаха бензина, машин, ничего достопримечательного нет. Плоть же деревенских пейзажей настолько осязаема, что читатель словно чувствует запахи навоза, парного молока, видит отсветы гаснущих углей в печи, блики лунного света и путающуюся в ногах мерно шагающих быков тень арбы; слышит струящийся ветерком воздух, смех русалки-каджи. Мы с радостью усваиваем и щедрые народные традиции. Хозяин дома наследует от своих предков не только землю, скотину, очаг, но и честь. В городе люди не знают родословной друг друга. В деревне же честь рода, отца передается из поколения в поколение как священный огонь.

Люди от земли мудрее, подлинней, великодушней. «Семье Большого Парны не занимать было ни хлеба, ни вина, ни усердия, ни трудолюбия, а уж умом... Со всеми невзгодами к ним шли, их умом, разумом разрешали свои нелады» (рассказ «Большой Парна»). Если что и повторяется в произведениях О. Иоселиани, то это описание мельника. Должно быть, это особенно близкий писателю образ, настолько близкий, что при всем богатстве воображения детали его переходят из рассказа в рассказ. Например, двери на мельнице не запирались, «приносили зерно и оставляли», мельник «с одного взгля-

да определял, чье оно». Мельник щедро наделен недюжинным умом, покладистостью, умением работать. У Большого Парна четыре дочери, он хоть и страстно ждет сына, но смиряется с судьбой. Наконец вершитель справедливости на небесах даровал наследника. Парна ликовал, он и «роптать бы не стал, вздумай творец, хоть в первый день появления мальчика, призвать к себе крепкого, как кремень, отца в качестве платы за свою великую милость». Спустя много лет наследник — «хорошо кормленный» благополучный работник треста, есть у него и машина, и дорогая кооперативная квартира. У них с отцом будто души разные. Непреходящую любовь старика к земле сын принимает за болезнь. Он бы не возражал против того, чтобы отец остался в деревне, но боится пересудов. Не хотел Большой Парна ехать в город, но сын продал и дом, и сад. Хотя писатель и принадлежит к поколению людей, бросающих обожженные веками очаги дедов, он — с мельником, а не с его предприимчивым сынком. Служебное положение, машина, квартира — мнимые ценности, ими нельзя жить.

Художник не всегда может показать выход из той или иной ситуации. Выход определяется социальными условиями. Однако ему по силам поднять сознание человека, показать ему, что кроме мира престижности и материальной зависимости существует мир духовной свободы. Искусство, в частности художественная литература, приближает нас к осмыслению подлинных ценностей добра, смысла жизни и назначения человека. Переориентация сознания людей влияет, в свою очередь, на социальную данность.

Непосредственное жизненное устройство Отиа Иоселиани показывает в сборнике детских сказок «Про малыша-охотника Бачо». Здесь, в придуманном царстве, торжествуют законы братства и справедливости. Герои — дети. Едва вышедшему из пеленок отважному охотнику Бачо понятен язык зверей и птиц на земле, в небе и в море. Бачо — устроитель справедливости, он же — мечтатель и покоритель новых миров.

Каким образом было нарушено изначальное братство людей? Откуда пошли раздоры, зависть, тщеславие? Во всем виноват дьявол-искуситель. Сначала рассыпал по улицам золото и серебро, думал, люди перессорятся из-за них, но не сбылись чертовы надежды. Тогда рассыпал алмазы, и опять не соблазнился человек. Решил спить, всю ночь таскал вино и водку к каждой двери. Думал, напьются и передерутся, но никто не стал пить, разве что руки протирали водкой для

дезинфекции. И уж как боялся нерадивый черт архидьявола — «хорошо, если с работы погонит, а то ведь и под суд отдаст, объявив ангелом». Соблазнил черт людей завистью. От зависти и пошли свары и беды — «люди стали злы, алчны и мстительны. Одни только дети оставались такими же добрыми, ласковыми и бескорыстными, как прежде». Сюжет детской незатейливой сказки Отиа Иоселиани перекликается с сюжетом новеллы К. Льюиса «Письма баламута», где старый черт, посылая своего племянника Гнусика искушать людей, объяснял ему, что они могут тянуть к себе пациентов только за веревку постоянных искушений, чем черт и надеялся подчинить себе человека.

На проблеме выбора человеком своего пути, своих идеалов писатель сконцентрировал внимание в сванской новелле «Охотник». Перед охотником — дилемма: равняться ли по мужеству, выносливости, благородству на тура или быть жалким, изнеженным ловцом герепелов. Тур для охотника — не мясо для шашлыка, а достойный соперник. Извечное состязание за первенство между туром и человеком стало символом совершенствования. Не было бы бесстрашно взлетающего на горные вершины тура — не на кого было бы равняться человеку. В поединке — спасение и турьего рода, не то спустились бы туры с гор и, изнедав тепла и нежного корма, превратились бы в коз. Вот и идет этот извечный спор дедов и прадедов — спор вражды и любви.

Лучшие женщины у Отиа Иоселиани мечтают. Мечта творит реальность. Бродила мечтательная улыбка и по лицу Перибе, невесты охотника Джобе. Не эта ли улыбка заставила его подняться вслед за туром на отвесную скалу? Рискуя замерзнуть или упасть в пропасть, он ждал там рассвета. Или эту страсть к победе он унаследовал от своего сброшенного со скалы ураганом дяди? Охотник в мысленном диалоге с туром выговаривает право на выстрел: «Ты сам знаешь, что сюда ни растяпа, ни проныра охотиться не ползет. ...Я еще туров у соленого родника не подкарауливал. Я в жаждущего стрелять не стану, не в моих это правилах. И голодному я не подсыплю яда». В поединке с туром, «сохранившимся в взметнувшихся в небо горах, умеющим греться холодом, быть сытым в голод и жаждой утолять жажду», человек становится сверхчеловеком. Не случайно турьи рога висят в церкви у икон. Состязание помогает туру в рождении крепконогих потомков, а человеку — причаститься к высшей божественной мудрости. Когда-то у северных народов предназначенного в

шаманы подростка выгоняли на несколько лет в степь — если выживал, становился ведуном-шаманом. Долгое одиночество, холод, голод закаляли волю, пробуждали ясновидение. Так и здесь, побывав на краю гибели, охотник учился мудрости довольствоваться малым: «...с завтрашнего дня ситцевое одеяло будет казаться мне жаркой периной, а хижина — замком. Зависть к чужому покинет меня, и малое станет для меня большим, и я стану счастливее, чем был до сих пор».

Казалось бы, новеллу «Охотник» — этот гимн гоединку равных — можно было бы закончить словами: «Давай, словно древние язычники, принесем жертву и будем молиться, чтобы тур не превратился в козла, а человек — в ленивого дармоеда». Однако «очистительной», как молитва, охоты недостаточно человеку для самоутверждения. Так уж повелось: людям требуется вещественное доказательство своего могущества, в данном случае — турья туша, никто не поверит, что можно довольствоваться увиденным, еще обзовут блаженным. Не по силам Джобе мудрость дедушки Перибе — возвращаться домой с пустыми руками и с затаенной улыбкой. Как ни ловчит он в поисках оправдания, благородное состязание превращается в убийство; при этом греследователь не может не понимать своего несовершенства. «Человеку, — обращается он к туру, — нечего тягаться с тобой: он честолюбив, лжив, двуличен, но у идущего вслед за тобой по твоей тропе есть возможность стать лучше, подняться над самим собой». Но подняться над собой, стать выше мнения окружающих — наверное, самая трудная высота, которой может достичь человек.

В турьем стаде побеждает сильнейший, «первенство или смерть» — это закон продления рода, у человека другой закон — закон добра и любви. Но сила вожака не предполагает бесчестья, более того, бесчестье — угроза для жизни. В другой сванской новелле «Тур-вожак» Отиа Иоселиани убедительно показал извечные законы борьбы за первенство. Белоголовый — маленький, беспомощный несмышлениш-тур. Первый обвал в горах и первое сознание необходимости делиться с осиротевшим туренком молоком матери. Не сознание — инстинкт. Инстинкт гонит к самцам, и по току крови Белоголовый узнает в вожаке отца. Четыре года дрался Белоголовый за первенство «во имя жизни, любви и потомства», «четыре года гремели на вершинах гор его рога». Трудно художнику при описании сложных переживаний не наделить зверя человеческими чувствами и мыслями. Однако писатель

очень тонко обходится апелляцией к инстинкту. На уровне инстинкта срабатывают не только самосохранение и продление рода, но и благородство, невозможность преступить законы чести. Порода не позволяет смалодушничать даже тогда, когда вожак знает, что последний удар будет стоить ему жизни. Не мог он отступить, «потомок в материнском лоне взывал к спасению». Смерть предстает как торжество будущего. Смерть во имя того, чтобы потомок унаследовал ток крови отца, волю к победе, любовь к жизни и веру в бессмертие.

Рассказы Отиа Иоселиани — как нитка самоцветных камней. Казалось бы, камни каждый сам по себе, но все нанизаны на одну нитку непреходящих человеческих чувств: трогательная верность мечте (рассказ «Со скорого поезда»); придающая силы ответственность за слабого (рассказ «По дороге с мельницы»); сопереживание чужой боли, умение в бедности увидеть другую реальность (рассказ «Девушка в белом»). В рассказе «Вдовьи слезы» перемежаются чувства страха, стыда, желанья, опасения и сожаления по поводу несостыявшейся близости героев. Сложны, перепутаны ощущения Пэло — героини рассказа «Парное молоко»: страх одиночества, обида, желание вернуть давно ушедшего мужа.

Персонажи вышеназванных рассказов — сельские жители. Но так ли уж важно, что события разворачиваются под аккомпанемент журчащих вод ручья, звуков и запахов процеживаемого парного молока, бликов разгорающихся в печи поленьев. Те же герои с аналогичными чувствами могли бы жить в городе, агроном бы стал токарем или фрезеровщиком, а Пэло не доила бы корову, а, голожим, стояла бы в очереди за колбасой. Вряд ли существенно изменились бы их переживания, обусловленные мировосприятием автора. Чувства остались бы прежними — осталось бы именно то, что составляет предмет искусства.

Сардион в рассказе О. Иоселиани «Водяница» не утерпел и откликнулся на зов русалки-кажди и до конца жизни был обречен искать прекрасную каджи, по сравнению с которой земная девушка, какая бы раскрасавица она ни была, пугалом покажется. Для героев О. Иоселиани характерна раздвоенность: с одной стороны, они привязаны к земле, волам, мешкам с кукурузой, с другой — тоскуют по синей птице — мечте. Вечное кружение. Кружение под аккомпанемент мельничного жернова: «сыплется зерно, льется вода по желобку, а мельница мелет... все мелет и мелет...»



Майя НЕМИРОВА

НА РЕКЕ ТИМ

От автора

В СКОРЕ после окончания войны командующий 65-й армией генерал-полковник П. И. Батов вызвал к себе генерал-майора В. Н. Джанджгава:

— Поедешь учиться в Академию Генерального штаба! — сказал Павел Иванович.

— В Академию Генштаба?! — удивленно переспросил Владимир Николаевич. — Но ведь я кроме военной школы нигде не учился...

— Знаю, знаю, — перебил командарм. — Зато ты учился в академии, которой командовал я, а аудиторией тебе было поле боя. Эту академию ты окончил на «отлично»!

За отличное окончание «батовской академии» на полях сражений Великой Отечественной войны Джанджгава был удостоен в победном мае сорок пятого года звания Героя Советского Союза, многих высоких боевых наград, а 354-я Калининградская стрелковая дивизия, которой он командовал с лета сорок четвертого, награждена орденами Ленина, Красного Знамени и Кутузова второй степени. 15 раз ее личный состав за доблесть и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими оккупантами, был отмечен благодарностями Верховного Главнокомандующего. Семеро воинов стали Героями Советского Союза.

Без малого десять лет после окончания Академии Генштаба прослужил генерал-лейтенант Владимир Николаевич Джанджгава в Советской Армии. Командуя дивизиями, корпусами, он с полной

отдачей использовал свой богатый фронтовой опыт и знания для содержания вверенных ему войск в состоянии боевой готовности, в деле воспитания молодых воинов на традициях старших поколений, прошедших жесточайшие в истории человечества сражения Великой Отечественной войны.

Трижды трудящиеся Грузии избирали своего достойного сына депутатом Верховного Совета СССР; был он депутатом пяти созывов Верховного Совета Грузинской ССР, членом ЦК Компартии Грузии.

Много трудных дорог случалось в послевоенной судьбе генерала, много крутых ступеней довелось ему преодолеть. И в самые сложные моменты своей жизни он оставался верным сыном Коммунистической партии.

Как партийное поручение было воспринято им и назначение на должность министра внутренних дел Грузинской ССР, исполняя которую в течение пяти лет, он много сил отдал искоренению преступности, зла и несправедливости.

С готовностью взялся Владимир Николаевич за руководство Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту, военно-патриотическое, физическое воспитание и техническое обучение молодежи и будущих воинов. 19 лет, до последних дней своей жизни, возглавлял он Центральный Комитет ДОСААФ Грузии, под его руководством ставший одним из передовых в стране.

Мне посчастливилось десять лет работать с Владимиром Николаевичем Джанджгава, и я благодарю судьбу за то, что она подарила мне радость общения с этим выдающимся человеком. Я помогала ему в работе над мемуарами «Немеренные версты» и «Верность». Каждое слово в них — нетленный памятник воинам, которых он, комдив, вел в бой. Но в книгах, написанных с присутствующей ему скромностью, генерал Джанджгава скупно рассказал о себе. Пусть же данью его памяти будет готовящаяся к печати в издательстве «Мерани» моя повесть о нем «Крутые ступени жизни», одна из глав которой в сокращении публикуется ниже в связи с 80-летием со дня рождения Владимира Николаевича.

ТЕЧЕТ на Орловщине неприметная река Тим, каких много на Руси. А судьба была ей войти навечно в историю Великой битвы за Родину.

На правом берегу Тима и на берегах его притоков Фошня, Косоржа и речушки Трул остановились в конце декабря сорок первого года после Елецко-Ливенской операции войска

13-й армии Брянского фронта. Операция эта, являвшаяся составной частью контрнаступления советских войск под Москвой, прошла успешно. Части одной лишь 13-й армии за 24 дня наступления продвинулись на запад более, чем на 100 километров, освободили сотни населенных пунктов, в том числе города Елец и Ливны. Было осуществлено одно из первых в Великой Отечественной войне окружение крупной группировки противника. Беспрецедентный героизм проявили в этих боях советские воины. Гитлеровцы понесли огромные потери в живой силе и технике. Но и нашим войскам эти бои стоили немалых жертв. Наступательные возможности Красной Армии на этом направлении стали иссякать. Она вынуждена была временно остановиться.

Сюда, на Тим, в конце мая 1942 года прибыла в состав 13-й армии 15-я Сивашская стрелковая дивизия. Одним из ее полков, 676-м стрелковым, командовал майор Владимир Николаевич Джанджгава.

Разгрузившись под вечер неподалеку от станции Студенный, тут же тронулись в гуть и той же ночью, скрытно, заняли боевой рубеж, сменив на нем части 143-й стрелковой дивизии.

Едва успев принять по штабным документам боевой рубеж у своего предшественника, майор Джанджгава вместе со своим адъютантом старшим лейтенантом Иваном Евзановым отправился на передовую.

В должность командира полка он вступил каких-нибудь 2 месяца назад, когда 15-я Сивашская находилась во втором эшелоне на отдыхе и пополнении ее личным составом и техникой, заметно поредевшими в предшествующих боях 1941 года под Днепропетровском, на Донбассе и зимнем наступлении за гаднее Ворошиловграда зимой 1942-го.

Сотни километров фронтовых дорог прошел за это время Владимир Николаевич от украинского городка Котовска, где застала его в рядах 16-й танковой дивизии война, через всю Молдавию, Украину, Донбасс. Тяжело контуженный, он чудом спасся во время переправы через Днестр, вырвался из окружения под Уманью, где в тяжелейших боях с врагом погибла почти вся 16-я танковая, уцелел в топях реки Самары, где 15-я Сивашская, в которой он служил с августа 1942-го, пробиваясь из окружения, потеряла почти всю тяжелую технику.

Встретив войну в должности начальника 5-го отделения штаба дивизии, Джанджгава вскоре стал заместителем ее командира по тылу и самоотверженно нес эту нелегкую, особен-

но в начальный период войны, службу, когда нашим войскам приходилось вести тяжкие оборонительные бои и временно отступать под натиском превосходящих сил противника, а после наступать по гревращенной гитлеровцами в пустыню родной земле.

Не раз за минувшие 11 месяцев боев приходилось начальнику тыла 15-й Сивашской дивизии самому, с автоматом в руках, участвовать в сражениях, брать на себя командование взводами, ротами из бойцов различных полков и дивизий, пробивавшихся из окружения. Так было под Уманью. Так было в толях реки Самары. И только теперь, впервые, доверили ему командовать полком в боевой обстановке. И он должен был доказать, что его заветная мечта командовать воинской частью имела под собой твердую гочву.

Из сообщения своего предшественника Владимир Николаевич сразу понял — его полку достался самый сложный участок обороны перед фронтом дивизии. Об этом достаточно красноречиво свидетельствовала и разложенная на столе штабной землянки карта.

Поэтому только своими глазами должен увидеть он все, сам оценить весь определенный 676-у полку участок обороны.

...Джанджгава и Евзанов, сдерживая коней, перешли с галопа на шаг: передовая была уже близко.

На обочине дороги острый взгляд майора приметил присевших передохнуть бойцов.

— Давно здесь? — спросил Джанджгава сержанта с медалями.

— Как в оборону стали. Новый, 42-й, здесь встречали.

— А немец — каков он?

— Лает, а в драку пока не ввязывается. После того, как мы ему под Ельцами и Ливнами хвост подрезали, бояться нас стал. Осторожничает. Однако я твердую думку имею — с силами собирается, обязательно вновь полезет. Строится круглые сутки, укрепляется.

— А мы?

— Ну... и мы, — как-то неопределенно ответил сержант.

— Выходит, на твой взгляд, недостаточно?

— Выходит так. Да и позиции у нас хуже. Ударит покрепче, зацепиться не за что. Будь я командиром... — сержант вдруг осекся.

— Тогда что?..

— ...круглые бы сутки в землю, как крот, зарывался.

Оборона, она всегда сгодится. Без крепкой обороны не удержать немца.

— А в каком пункте твоя рота стояла?

— Батальон, — уточнил сержант. — Да в самом трехклятом месте — в заовражье.

— Да, заовражье... — Оно сразу насторожило Джанджгава, едва он взглянул на карту и узнал, что там предстоит расположить один из батальонов 676-го полка. Слева — чужая дивизия, справа и намека нет на локтевую связь с остальными батальонами. На телефонную — проволочную, какой она была здесь — связь в бою не положишься...

— К Швендику! — приказал он и свернул на лесную тропу.

Не проехали и несколько десятков метров, как его конь вдруг громко захрапел и остановился.

— Ты что, Дружок? — удивился Джанджгава и, наклонившись в седле, потрещал коня между ушами. На руке остался мокрый след. Кровь. Конь ранен. Каким образом?

— Стреляли? — спросил, спрыгивая на землю.

— Да вроде бы нет, товарищ майор, — удивленно пожал плечами Евзанов. И только тут, взглядевшись в темноту, увидел: над тропой, на высоте около двух метров, тянулась колючая проволока, которую связисты вынуждены были использовать взамен (стродефицитного) телефонного кабеля, подвешивая ее на невысоких шестах.

— Хорошо, что шагом ехали. На полном скаку не сносить бы нам головы...

Джанджгава взял коня под уздцы и двинулся вперед. Евзанов последовал за ним.

Громкий оклик: «Стой! Кто идет?!» — остановил их.

— Дальше вам, товарищ майор, верхами нельзя, — предупредил прибежавший навстречу бойкий молодой лейтенант — командир батареи. — Мы коней поставим в безопасное место, пока вы вернетесь.

— Ты коня мне подлечи. И проводника дай.

Проводник, еще сам не зная толком глубокого оврага, отделявшего батарею от третьего батальона, шел кружным путем, а предупрежденный по телефону командир батальона 20-летний капитан Иван Швендик встретил Джанджгава во втором эшелоне батальона.

— Почему командный пункт без разрешения оставил?! — вместо ответа на приветствие набросился на него Джанджгава,

Швендик с присущим ему спокойствием неторопливо от-
ветил:

— Та мы ж с вами, товарищ майор, зараз вместе на-
вернемся. По овражкам этим бисовым, кто их не знает, и
ноги переломать можно...

...Теперь они шли по неглубоким и не очень аккуратно
открытым, занятым здесь ранее частями другой дивизии око-
пам и ходам сообщения, и Владимир Николаевич похода лишь
жестом указывал Швендику на сползший бруствер, обветшав-
шее укрепление, грязную лужу... Тот так же молча кивал в
ответ: знаю, мол, видел, будет сделано...

Взглянув на наручные часы со светящимся циферблатом
и рассчитав, что до рассвета осталось не так уж много, а надо
успеть вернуться затемно, Джанджгава, несмотря на большое
желание поговорить с бойцами, только у одного, лицо кото-
рого ему было уже знакомо, спросил:

— Как, на твой взгляд, окопы хороши?

— Так это ж как для кого, товарищ майор. Мне, чтоб
в атаку из них? Брустверочек песчаный, чуть его тронь рукой,
осыпется и тянет обратно. Не обопрешься для толчка, не
подтянешься, чтобы выпрыгнуть. А для него, — боец кивнул
в сторону немцев, — горочка эта что надо, съедет на задни-
це ко мне в окопчик, как на лыжах...

Джанджгава нахмурился. Его большие светлые глаза го-
темнели, сузились в прищуре, что предвещало гнев, который
порой ему с трудом удавалось сдерживать...

Майская ночь была лунной, теплой. Стояла такая тиши-
на, что, казалось, слышно, как растет трава, наливаются колос,
как отдает тепло разогретая за день земля...

Джанджгава и Швендик лежали в кустах, чуть поодаль
боевого охранения и, кристально вглядываясь в темноту, фик-
сировали в своей по-военному цепкой памяти все, что выри-
совывалось в лунном свете и прояснялось при ярких вспыш-
ках ракет по обеим берегам реки: своему и противника...

— Что за парень здесь до тебя командовал? — приглу-
шенным шепотом спросил Джанджгава.

— Боевой парень. Беда — присиделись они здесь без-
малого 5 месяцев. Вже не бачив, що близко.

— А что ты побачив, мудрец?

Швендик ответил не сразу:

— Хлипко все тут пока... Оборону строить надо, — за-
ключил он веско.

И в теплой пахучей ночи в памяти Джанджгава вдруг возникли бескрайние снежные поля Карелии, усеянные минами, заставленные проволочными заграждениями, железобетонные доты и дзоты — оборонительные сооружения белофиннов. Отчетливо, словно наяву, послышался ему голос полковника Кравченко: «Смотри, Володя, учись, как выстроена оборонительная линия противника. Не будь она так крепка, давно бы мы его смяли».

— Пойдемте, товарищ майор, — прошептал Швендик. — Светает.

Они неслышно поползли обратно.

В околах их уже ждали вызванные Евзановым инженер Мысин и начальник связи Мокроус.

— Все здесь самим осмотреть и в 14.00 доложить.

— Товарищ майор, вас к телефону!

Звонил комдив, полковник Афанасий Никитич Слышкин.

— Вы это что?! — грозно обрушился он на Джанджгава. — Кто разрешил вам в боевое охранение вылезать?! Вам полком командовать, а не на рожон лезть.

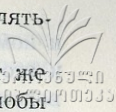
Владимир Николаевич не стал оправдываться; комдив, разумеется, прав. Но как объяснить ему, что сейчас он должен сам все увидеть, взвесить и оценить, чтобы не только поверить в своих комбатов, вместе с которыми еще не воевал, но и удостовериться в правильности собственных решений.

— А где, доложите-ка, искать вас потом? — все еще сердито спросил комдив.

— Разрешите направиться в свой первый.

«Первый» — первый батальон полка располагался за оврагом вдоль Тима, а одна его рота — по правому берегу, на плацдарме в приречной части поселка Шолохово, вторую половину которого занимали немцы. Шолоховский плацдарм был невелик, около квадратного километра, приносил командованию много хлопот, связанных с доставкой продуктов, боеприпасов, эвакуацией раненых, так как каждый сантиметр реки в этом месте был у немцев на прицеле, и они обрушивались на нее сумасшедшим огнем, стоило появиться кому-либо из наших воинов. Но вместе с тем плацдарм был очень ценен, так как на случай наступления наших войск на нем можно было развернуть почти до батальона пехоты. Понимая это, немцы не раз пытались им овладеть, однако его всякий раз самоотверженно отстоявали воины оборонявшейся там роты, поддержанной всеми видами огня.

— Ладно, — согласился Слышкин, заречный плацдарм



немало беспокоил и его. — Но если вздумаешь переправлять-ся на западный берег, отдам под трибунал.

— Слушаюсь! — нехотя отвечал Джанджгава. И тут же твердо решил добиться у комдива разрешения самому побывать на заречном плацдарме.

На командный пункт полка Джанджгава вернулся лишь в полдень. До начала совещания, на которое были вызваны начальники служб и командиры батальонов, оставалось менее часа. Надо было успеть еще раз проанализировать все узнанное и увиденное, принять решения и привести себя в порядок после трудной, бессонной ночи.

Когда на столе, покрытом газетой, уже стояли кастрюля с горячей картошкой, хлопковое масло, фляга водки, лежал хлеб, Владимир Николаевич попросил ординарца:

— Зови сюда комиссара, грех одному так пировать.

Батальонный комиссар Иван Иванович Мазниченко был несколько старше Джанджгава. В мирные дни работал парт-оргом ЦК ВКП (б) на одном из крупных донбасских заводов, а когда началась война, добровольцем ушел на фронт. До дерзости смелый, был он, вместе с тем, всегда спокоен, уравновешен и умел создать вокруг себя обстановку спокойствия и уверенности даже в самых сложных боевых ситуациях. В полку его любили как родного отца и шли за ним, не раздумывая, в самый трудный бой.

Владимир Николаевич хорошо знал Мазниченко еще будучи заместителем комдива по тылу и считал, что с комиссаром ему повезло. Вдумчивый, тактичный, хорошо за месяцы боев разобравшийся в боевой обстановке, он вскоре стал близким другом и ближайшим советчиком командира полка.

— Ну как там, что видел? — нетерпеливо спросил Джанджгава, едва Мазниченко вошел в землянку.

— Оборону укреплять надо.

— Вот-вот! Оборону! Она требует срочной и коренной перестройки. Ударь сегодня немец, нам его не удержать... Ты только скажи, что здесь наши предшественники целых 5 месяцев делали?

— Немца удерживали. Сначала сломили в кровопролитных боях, отогнали сюда и здесь удерживали. Измотанные в сражениях люди оборону строили зимой. В сильный мороз, при глубоких снежных заносах. По весне ее, конечно, необходимо было в сжатые сроки перестроить. Вот мы с тобой этим и займемся...

...Совещание длилось недолго. Начальники служб ^{полка} и комбаты, уже привыкшие за 2 месяца работы с Джанджгава к его оперативности и деловитости, все же были поражены ^{осведомленностью} ^{командира} в положении дел на новом участке фронта.

Подтянутый, собранный Джанджгава, хоть и было ему всего 35, казался теперь еще больше помолодевшим.

— Противник готовится к активным действиям, об этом свидетельствует все его поведение, и время года — лето, играет ему на руку, — уверенно говорил майор. — Необходимо срочно произвести укрепление обороны...

Определив и другие важные задачи, от выполнения которых зависела устойчивость обороны, он четко разграничил ответственность подчиненных за каждый участок работ.

— Мы с комиссаром будем ежедневно и очень строго контролировать их выполнение, — добавил в заключение.

Как только совещание закончилось, Евзанов доложил о прибытии командира саперной роты 75-го саперного батальона старшего лейтенанта Корнева. Джанджгава обрадовался встрече.

С этим двадцатилетним лейтенантом, мужественным и не по годам серьезным, он впервые встретился в начале октября 1941 года. Случилось это вскоре после того, как 15-й Сивашской дивизии удалось выбраться из кольца вражеского окружения в топах реки Самары и выйти на ее левый берег. Но и здесь танковому десанту гитлеровцев удалось прорваться в тылы дивизии. Несколько танков с мотопехотой двинулись на хутор Водяной, где разместилось управление дивизии. Создалась непосредственная угроза захвата хутора. Комдив Слышкин приказал всем работникам штаба и личному составу спецподразделений, находившихся на хуторе, срочно занять круговую оборону. Командование спецподразделениями полковник поручил Джанджгава.

Меткие выстрелы артиллеристов заставили вражеских танкистов остановиться, но, опомнившись, они вновь двинулись вперед, некоторым из них удалось прорваться к нашим позициям. В критический момент, когда один из танков подошел совсем близко, рядом с Джанджгава вдруг поднялся из окопа высокий светловолосый лейтенант. Прицелившись, он ловко метнул бутылку с горючей смесью в лобовую часть танка. Машина, объятая пламенем, остановилась. Следовавшие за ней танки попытались с ходу развернуться, чтобы обойти «костер», но в них полетели десятки бутылок с зажигательной смесью.

1195340
510-111033

«Ностер» увеличился втрое. Выбравшиеся из горящих машин фашисты были уничтожены дружным ружейно-пулеметным огнем советских воинов.

Когда бой стих, Джанджгава разыскал светловолосого лейтенанта. Им оказался командир саперного взвода Василий Корнев.

... — По приказанию комдива я и моя саперная рота были в ваше распоряжение, — доложил Корнев.

Владимир Николаевич обнял старшего лейтенанта и попросил:

— Отправляйся сейчас со своими людьми в 3-ий батальон и посиди-ка пока в его окопах. Боюсь, как бы именно туда не полез немец, а мы его сегодня встретить еще не готовы. Оборона там — дрянь. Кстати, сам посмотришь. А я попозже к тебе приду, вместе еще раз обойдем передний край...

— Комбат Швендик и старший лейтенант Корнев отлично справятся сами, — услышал он за спиной голос Мазниченко.

Джанджгава резко обернулся. Комиссар смотрел на него твердым взглядом.

— У тебя здесь, в штабе, Владимир Николаевич, дел по горло.

С трудом сдерживая охвативший его гнев, командир полка крикнул Евзанову:

— Задержи Швендика! — и приказал Корневу: — Отправься с комбатом.

Джанджгава сдержал слово: еще засветло пришел, вернее, приполз под обстрелом, в окопы, где временно разместились саперы. Вместе с Корневым и Швендиком еще раз внимательно осмотрел передний край обороны — свой и противника. Втроем они обсудили, где необходимо произвести дополнительное минирование, установить проволочные заграждения, оговорили очередность работ по подготовке обороны. Тут же, лежа в окопах, решили изготовить во втором эшелоне метровой высоты «рогатки» с колючей проволокой, доставлять их ночью в окопы и устанавливать перед своим передним краем обороны.

Обстановка на фронте в начале лета 1942 года предвещала новое наступление врага. Немецко-фашистское командование готовилось взять реванш за свои крупные поражения в зимних сражениях. Советское командование предполагало, что главным направлением удара войск противника станет во-

ронежское. В случае успеха это давало возможность немцам выйти в глубокий тыл московской группировки Красной Армии.

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях» впоследствии напишет: «Ставка и Генеральный штаб особенно опасными направлениями считали орловско-тульское и курско-воронежское с возможным ударом противника на Москву — обходом столицы с юго-запада»¹.

Именно на этом опасном курско-воронежском направлении и находилась в составе 13-й армии 15-ая Сивашская стрелковая дивизия.

В начале июня авиаразведка все чаще стала доносить о сосредоточении войск противника перед фронтом 13-й и соседней слева 40-й армии, особенно уплотняла свои боевые порядки 4-я танковая армия генерала Гота.

Необходимо было конкретизировать и детализировать эти сведения, внести ясность в вопрос о возможных действиях противника в ближайшее время. То, что он эти действия начнет, сомнений не вызывало, но — когда? Установить же хотя бы приблизительную дату начала немецкого наступления не удавалось. Сколько-нибудь прояснить ситуацию мог лишь захваченный в плен немецкий солдат, а еще лучше — офицер. Но гитлеровцы несли службу бдительно и наши поисковые группы каждую ночь возвращались ни с чем, а «язык» был необходим как воздух. В этих условиях оставалась лишь одна возможность добыть его — в разведке боем. Провести ее комдив приказал майору Джанджгава. Четко спланировав бой, он провел его силами первого батальона, используя для этой цели заречный плацдарм в селе Шолохово. 9 июня, едва забрезжил рассвет, воины батальона внезапной атакой ворвались в оборону гитлеровцев, выбили их из западной части деревни, уничтожили около 200 человек, а 3-х захватили в плен. На допросе пленные показали, что их 385-я пехотная дивизия прибыла на фронт недавно и что приказ о переходе в наступление ожидается со дня на день.

...Тот, кому довелось близко знать Владимира Николаевича, непременно подмечал, что он редко бывал доволен результатом своего труда. Ему всегда казалось — чего-то недоделал, что-то можно было сделать лучше. «Лучшее — врач хороше-

¹ Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. Изд. Агентства Печати Новости, М., 1971, с. 364.

16 19359 40
510-21101933

го», — любил повторять он. И сам словно ставил себе отметки за свои дела и никогда не оценивал их высшим баллом.

Тем же, своим, хотя и небольшим, но первым самостоятельным боем был доволен и, вспоминая о нем на склоне лет, уже умудренный опытом крупного военачальника, не видел в нем промахов. Бой был спланирован и проведен четко. Успешно были решены две задачи. Первая — взяты пленные, которые дали ценные сведения. И вторая, не менее важная, — в бою проверен на прочность личный состав батальона. А проверка такая, как оказалось потом, была необходима. Командир первого батальона растерялся, потерял управление ротами и взводами, не рискнул переправиться на правый берег Тима. Руководство боем взял на себя Джанджгава, заблаговременно перенесший свой наблюдательный пункт в первую траншею на левом берегу реки.

Сомнений не вызывало — противник готовил прорыв в полосе обороны 15-й Сивашской дивизии, в том числе и обороны ее 676-го полка. А времени на ее полную подготовку в инженерном отношении не оставалось. Да и много ли успеешь сделать в такие сжатые сроки, когда в руках солдата одна лопата и, в лучшем случае, кирка в придачу. Катастрофически не хватало и средств заграждения.

— Месячишко бы нам еще, — говорил командир полка комиссару.

Оба они с рассвета до полуночи проводили сейчас в батальонах, ротах, взводах и возвращались на КП подписать боевые документы, отдать распоряжения своим подчиненным и поспать часок-другой, чтобы не свалиться от усталости.

Командир полка, не давая отдыха ни себе, ни своим подчиненным, усиленно готовил оборону опасных в противотанковом отношении направлений. Готовил личный состав и оружие всего полка к быстрому маневру огнем, колесами и пешим порядком, уделяя особое внимание вопросам взаимодействия огня и движения при нанесении контратаки.

Вся артиллерия и обоз полка были на конной тяге. А кони... Животные с трудом приходили в себя после зимне-весенней голодухи. Едва уцелевшие после перехода вплавь через реку Самару и боев на Донбассе, они до того отощали, что весной едва волочили собственные ноги — куда уж там пушки! В артиллерийские упряжки приходилось частенько впрягаться бойцам. В Икорецких лагерях, где дивизия весной стояла на отдыхе и пополнении личным составом, бойцы, чтобы

уберечь коней от падежа, снимали с пустовавших изб соломенные крыши, и оголодавшие животные жадно поедали слежавшуюся, прелую солому — корм, который хотя и не давал им подохнуть, но сил не прибавлял. Правда, здесь, у Тима, где шла подготовка планомерной обороны, фуражное снабжение стало несравнимо лучше, да к тому же пробилась, наконец, долгожданная трава. Но в июне она еще невысока и косой ее не возьмешь — рвали вручную поодаль от передовой и доставляли на огневые позиции, где стояли в укрытиях артиллерийские кони.

Пожалуй, как никто другой зная своим крестьянским нюхом цену коню, Джанджгава то и дело наставлял своего заместителя по тылу капитана Чернобабу:

— Свой паек отдай коню, мой паек отдай, где хочешь корма достань, но конь должен быть сыт и ухожен. Конь — это боеприпасы в бою, быстрая смена артиллерийских позиций, это — медикаменты, пища для бойцов, спасение для раненых...

Оборона. Все мысли командира полка только о ней, о том, как встретить врага во всеоружии. Джанджгава торопится. Торопит подчиненных. Времени — в обрез. И на тревожное из-за затянувшегося молчания письмо жены отвечает стенографически кратко: «Жив. Не волнуйся. Занят. Береги себя и детей».

— Оборона достигнет своей цели, — учит майор подчиненных, — если в короткое время огнем всех видов во взаимодействии с заграждениями и решительными контратаками мы сумеем измотать и обескровить наступающего врага, вынудить его отказаться от дальнейшего наступления.

23 июня 1942 года противник начал вести по глубине боевых порядков полка артиллерийский огонь, корректируя его при помощи самолета Фоккевульф-189, прозванного на фронте «рамой». Сомнений не оставалось: противник начал пристрелку плановых рубежей на переднем крае и глубине обороны советских войск. И Джанджгава доложил об этом по телефону комдиву.

— Твои прогнозы, Владимир Николаевич? — спросил полковник Слышкин.

— Наступления следует ожидать в ближайшие дни.

— И даже часы, — уточнил комдив и добавил: — Спать, Владимир Николаевич, не раздеваясь.

Это был приказ о ежесекундной боевой готовности всего личного состава полка.

Наутро на его КП вместе с комдивом Слышкиным приехал и командующий 13-й армией генерал-майор Николай Павлович Пухов и член Военного совета бригадный комиссар Марн Александрович Козлов. Зная, какой сложный участок занимает 676-й стрелковый полк, с особой тщательностью осматривали его оборону.

Едва командиры подъехали к КП полка, в небе появилась «рама».

— Прошу вас, — торопил Джанджгава командарма и комиссара, пропуская их в укрытие. — Возможен артобстрел.

Оглушительные хлопки выстрелов заглушили его слова. Это бойцы 676-го стреляли по «раме» из винтовок, автоматов и пулеметов. Но она мгновенно взмыла в высоту, не досягаемую для этих видов оружия.

Майор докладывал командиру спокойно, обстоятельно, заостряя все недостатки в обороне и подготовке личного состава, устранить которые еще не удалось. Был уверен — командарм все поймет, как надо, поможет советом, делом.

— Я помогу тебе, майор. Сдается мне, основной удар врага придется на твои плечи.

Осмотрев ряд инженерных сооружений, побеседовав с бойцами, командиры вернулись на полковой КП. Они были довольны: и месяца не прошло, как стоит здесь 676-й полк, а как здорово успел укрепить оборону.

На исходе июня разведка сообщила: перед фронтом обороны 13-й армии противник закончил развертывание армейской группы «Вейхс», имевшей в первом эшелоне своей ударной группировки 7 пехотных, 3 танковые и 3 моторизованные дивизии, поддержанные с воздуха авиацией 4-го воздушного флота.

Соотношение сил к этому времени было явно не в нашу пользу, особенно в полосе действий 13-й армии, которую противник превосходил по пехоте в два, по артиллерии — в два с половиной раза. На участке же главного удара он мог создать тройное превосходство по пехоте и шестикратное по танкам.

Так уж повелось: почту для Джанджгава получая и передавал ему Май. Это были минуты радости в суровой боевой обстановке. Жена майора писала ему часто, не реже двух раз

в неделю. Иногда одно письмо догоняло другое, и они приходили сразу. Владимир Николаевич каждый раз радовался им, словно получал впервые. Радость эта, рожденная в зябкий осенний день 1941 года, когда после трехмесячного неведения он получил наконец драгоценную весточку от жены о том, что она и дети живы, здоровы и находятся в Грузии, — не притупилась в его сердце. До этого он знал, что эшелон, в котором уехали на восток из Котовска, где их застала война, семьи офицеров 16-й танковой, в том числе и его семья, попали под бомбежку около Харькова, и с ужасом думал о страшных испытаниях, выпавших на долю молодой женщины, когда она с двумя маленькими детьми на руках добиралась — где пешком, где на попутной машине — до Харькова, прячась в лесах, подальше от дороги, от бесконечных бомбежек.

Шофер штабной машины и ординарец полка Май писем не получал: Одесса была под немцем. Успела ли эвакуироваться его семья, он не знал.

Однажды, прочитав очередное письмо от жены, Джанджгава протянул его Маю.

Тот удивленно посмотрел на него.

— Читай, читай! — сказал Владимир Николаевич.

На нижней половине листка после грузинских букв неуверенными цепочками выстроились русские слова.

«Дорогой Лев Григорьевич! Я уже давно знаю о вас и вашей жизни из писем мужа... Когда я думаю о том, как там, на войне, мой Володя, мне легче оттого, что вы с ним рядом. Большое вам за это спасибо.

Ваша Ольга Джанджгава».

...Сквозь глубокий, но сторожкий сон Джанджгава явно слышал нарастающий рев мотора. Мгновенно вскочил.

В землянку вошел высокий, стройный майор лет 30-ти в форме танкиста.

— Майор Стура.

— Стура?! — переспросил командир полка.

— Борис Георгиевич Стура.

Перед ним был сын старого большевика, председателя Президиума Верховного Совета Грузинской ССР Георгия Стура, племянник Ваню Стура — соратника Ильича.

Он слышал от кого-то из земляков, что Борис Георгиевич Стура работал за границей, выполнял задание Коминтерна. Незадолго до войны вернувшись в Москву, поступил в бронетанковую академию. Работал в комиссии по лендлизу.

— На помощь к вам, с корпусом Катуква.

Известие это было радостным: при поддержке танкового корпуса силы армии сразу утраивались.

Поинтересовавшись, как обстоят дела в полосе обороны 676-го полка, Стуруа сказал:

— Если бы не отец, приехавший на мое счастье в столицу, не видать бы мне фронта. Писал Ворошилову, а он отказал: «Комиссия по лендлизу тоже работает для фронта»...

Стуруа был назначен начальником разведки штаба, и генерал Катуков приказал ему выехать первым в расположение 15-й стрелковой дивизии, чтобы заблаговременно разведать дороги и подьезды для нанесения танкового контрудара по врагу, если тот попытается прорвать оборону дивизии.

...Они сели ужинать. Вспомнили Грузию, Тбилиси. Выпили за скорейшую победу. Разговор то и дело перебивали телефонные звонки. Комбаты докладывали о заметно изменившемся режиме поведения противника. В их голосах была нескрываемая тревога.

С каждым звонком растет настороженность и командира полка.

— Смотрите в оба! — приказывает он комбатам.

Шел 3-й час, когда гость, не раздеваясь, прилег на топчан, и мгновенно сон сморил его. Обеспокоенный сообщениями комбатов, взбудораженный приездом Стуруа, его рассказами, воспоминаниями, Джанджгава неподвижно сидел за столом. Сна, который незадолго до этого свалил его едва ли не за мертво, как ни бывало. Но впереди предстоял трудный боевой день, и через несколько минут он заставил себя лечь. Но едва сомкнул глаза, адский грохот заставил его вскочить. Понял — началось! Часы показывали 3.10.

Джанджгава, а следом за ним и Стуруа, выбежали из землянки. Вокруг все грохотало, скрежетало, стонало — противник вел мощную артиллерийскую подготовку.

Стуруа вскочил в свою бронемашину, и она, круто развернувшись, скрылась в ночи.

Встретиться с Борисом Георгиевичем Джанджгава больше не довелось. В бою на реке Тим майор Стуруа был тяжело ранен и, не приходя в сознание, скончался в полевом госпитале.

— Я знал Бориса Стуруа лишь несколько часов, — вспоминал позже Владимир Николаевич. — Мне тогда не было известно о пройденном им пути. Видя перед собой недохавшего пороха тыловика-«академика», я, однако, порадовался четкости его военной мысли, меткости характеристик и

трезвости в оценке международных событий и особенно неистребимой ненависти, с которой он говорил о фашистах. Было достаточно и тех нескольких часов, которые я провел в его обществе, чтобы понять, какой это был незаурядный человек.

...Острые наступления противника было направлено на Воронеж с последующим выходом к берегам Волги. Для Ставки Верховного Главнокомандования такой удар врага явился до некоторой степени неожиданным, так как предполагалось, что вторую летнюю кампанию гитлеровцы посвятят новой попытке взять Москву. Вот почему основные, самые мощные силы Красной Армии были сосредоточены на центральном участке фронта, прикрывающем подступы к столице.

В совершенно секретной директиве № 41 Гитлер предписывал сосредоточить все имеющиеся силы для проведения главной операции на южном участке фронта с целью уничтожения противника западнее реки Дон, а в последующем захватить нефтяные районы Кавказа и перевалы через Кавказский хребет.

Гитлеровцам удалось подготовить новую военную кампанию в обстановке полной секретности: для нанесения удара они стянули на южный участок фронта все резервы, которые смогли собрать в Западной Европе, включая войска своих сателлитов.

Немалые силы на Брянском фронте были сосредоточены и советским командованием, но, как выяснилось позже, противник имел тройное превосходство в пехоте и артиллерии и шестикратное — в танках¹.

Главный удар гитлеровцы нанесли в полосе 15-й Сивашской дивизии на ее стыке с соседом слева — 121-й стрелковой дивизией 40-й армии.

Против сивашцев враг сразу же бросил в бой три пехотных и одну танковую дивизии. Под ударами мощного артиллерийского и минометного огня гитлеровцы ринулись в наступление, намереваясь расчленить, окружить и уничтожить 15-ю Сивашскую. Над ее боевыми порядками нависла вражеская авиация. Группами по 25—30 самолетов она непрерывно бомбила наши войска. С самолетов летели не только бомбы, но и обрезки рельсов, куски железа. С диким воем специально установленных сирен гитлеровские самолеты гонялись за бойцами, стремясь воздействовать на их психику, вывести из строя.

Бой на реке Тим был первым крупным боем, в котором

¹ Архив МО СССР, ф. 361, оп. 6079, д. 105, л. 150.

Владимиру Николаевичу Джанджгава довелось командовать полком. Он знал — главное заключается в том, чтобы не только измотать живую силу врага, но и удержать занимаемые рубежи обороны, а это, учитывая превосходство врага в живой силе и особенно технике, было непросто. И командир полка делал все, чтобы выполнить эту задачу.

Командуя полком, а позже дивизией, он придавал огромное значение выбору места для пункта управления и считал для себя большой удачей, если наблюдательный пункт — НП — удавалось разместить так, чтобы с него просматривалась местность предстоящего боя.

Готовясь к боям на реке Тим, приказал оборудовать полковой НП на колокольне давно заброшенной церкви в селе Норовка. Выбор, действительно, оказался отличным, с колокольни вся местность вокруг была видна как на ладони. Это очень скоро оценили наблюдатели из 203-го арtpолка и напросились в соседи.

В 5 часов утра после полуторачасовой артиллерийской подготовки противник начал развивать наступление. Следуя вплотную за валом артиллерийского огня, саперы проделывали проходы в проволочных заграждениях, в которые тут же устремлялись пехота и танки.

Наблюдатели из 203-го арtpолка, скорректировав цели, передали их батареям. Загрохотали наши пушки, стремясь преградить путь наступавшему противнику. Но подбитый вражеский танк заменяли сразу два-три других, на месте скошенной снарядом цепи пехоты возникала, словно из-под земли, другая. Казалось, нет числа ни танкам с крестами на броне, ни гитлеровским солдатам в серо-зеленых мундирах...

Неблагоприятные природные условия местности, по которой проходила передовая линия окопов 676-го полка — заливные луга с подпочвенными водами, — препятствовали открытию глубоких окопов и траншей. Ценой огромных усилий полку все же удалось выстроить довольно прочную оборону, и Джанджгава с чувством удовлетворения думал о том, что большинство бойцов и командиров, если минует их опасность прямого попадания вражеского снаряда или бомбы, находятся в укрытиях и не пострадают.

Командир полка очень скоро определил, что первым схватиться с врагом предстоит заовражному батальону Швендика, а еще конкретнее — его чуть выдвинутой вперед к излучине Тима 8-й роте, которой командовал старший лейтенант С. Широ.

— Швендика на связь! — приказал он сидевшему рядом телефонисту и, когда в трубке раздалось «Фиалка слушает», крикнул:

— Прут на тебя, Иван! Выкатывай «игрушки» на прямую наводку и действуй по плану.

Наблюдая за ходом разворачивающегося боя, увидел, как переправившиеся через Тим танки открыли шквальный огонь по роте Шкирко, как под прикрытием этого огня устремилась вперед немецкая пехота, а потом из дзота ударил пулемет.

Пулеметный огонь заставил гитлеровцев залечь. На помощь им пришли минометчики. На дзот обрушился град мин. Джанджгава напряженно вглядывался в даль. Вот гитлеровцы поднялись в рост. Но едва они сделали несколько шагов вперед, пулемет Чумака ожил и им пришлось снова залечь.

Около двух часов сдерживал отважный пулеметчик яростные атаки врага на «заовражный» батальон. Около 2-х часов стойко отбивал он вражеские атаки, не раз вступая в рукопашную схватку с гитлеровцами. А когда Швендик, выполняя приказ командира полка, стал отводить батальон в район деревни Зиброво, чтобы занять там круговую оборону, пулеметный расчет помог ему выполнить боевую задачу.

Поведение противника, наступавшего в расположении батальона Швендика, вызвавшее поначалу у Джанджгава сомнение в том, что именно здесь наносится главный удар, вскоре переросло в уверенность — это лишь отвлекающий маневр. Главный удар нацелен на стыки 676-го полка с 47-м и левофлангового 321-го со 121-й дивизией 40-й армии.

Так и есть: к реке подошла, форсировала ее с ходу, развернулась и ринулась в направлении батальона майора Концедалова группа в 20—25 танков с пехотой на броне.

Майор приказал начальнику артиллерии полка Ковригину:

— Поддай-ка огонька Концедалову, немец на него лезет!

Артиллерийский огонь — ощутимая помощь в бою, но глядя на новую сплошную стену подходящих к реке вражеских танков, командир полка решил не жертвовать зря людьми, отвести батальон Концедалова на вторую, более укрепленную линию обороны, и там принять бой.

— Концедалова на связь!

Но телефонной связи не было. Не было ее больше ни с одним из трех батальонов полка. Сколько ни звал, надрываясь до хрипоты, связист, ему никто не отвечал.

За несколько дней до начала боя, когда обстановка в по-

досе дивизии накалилась до предела и вражеского удара можно было ожидать ежесекундно, Джанджгава установил постоянное дежурство на полковом НП отделения посыльных «подвижной связи» из боевых, смекалистых бойцов, которые должны были стать «живой связью» с батальонами и отдельными ротами. И так как связаться с Концедаловым не удалось не только по телефону, но и по рации, майор позвал одного из посыльных.

Но в этот момент на своем норовистом коне подскочил и прыгнул на ходу старший лейтенант Евзанов. Перескакивая через ступеньки, взбежал на колокольню и стал докладывать о положении в батальоне Белоуса, откуда только что вернулся. Батальон, стойко удерживая рубежи обороны, не отступил ни на шаг.

Слушая Евзанова, Джанджгава не отрывал глаз от позиций оборонявшихся батальоном Концедалова. Вражеские танки с зловещим ревом приближались к передней линии окопов. Вот резким маневром они свернули чуть левее и с ходу прорвали оборону на стыке батальона Концедалова с 47-м стрелковым полком. Не в силах сдержать таранный удар противника, он стал отходить на юго-восток, в расположение соседнего 321-го полка. Воспользовавшись этим, гитлеровцы двинули часть своих танков на северо-восток. С НП было хорошо видно, как танки хитрым маневром стали обтекать батальон слева. Ему грозило неизбежное окружение. Дорога была каждая секунда.

— Срочно! — приказал Джанджгава Евзанову и только сейчас, на мгновение оторвавшись от бинокля, увидел посеревшее, осунувшееся, в ссадинах лицо старшего лейтенанта, его опаленную, местами прожженную до дыр, гимнастерку. Но времени для раздумий, для жалости, сейчас не было...

— Немедленно к Концедалову! Приказываю отступить на вторую линию обороны! И держаться там!

Легко сказать — передать приказ. Евзанову предстояло преодолеть тысячу смертей, чтобы выполнить его.

Подъезжая к расположению батальона, он еще издали заметил группу бойцов и, решив, что это свои, что они бросили позиции, крикнул:

— Стой! Назад!

В ответ прозвучало немецкое «хальт!».

Развернувшись мгновенно, прищпорив коня, Евзанов под свист пущенных ему вдогонку пуль, одна из которых пробила пилотку, скрылся в роще. Он все же сумел предупредить Кон-

цедалова, и тот вовремя отвел батальон на второй рубеж обороны...

...Положение с каждой минутой осложнялось. Джанджгава нервничал. По шуму удалявшегося на юго-восток боя он понимал, что под ударом во много крат превосходящих сил противника вынуждены отойти на юго-восток не только 47-й, но и 321-й стрелковые полки 15-й дивизии, а это означало, что никакой локтевой связи с соседями у 676-го полка слева больше не существовало. Слева был враг. Не удавалось наладить радиосвязь и с соседом справа. Все это вместе взятое означало, что 676-у полку предстояло вести бой в изоляции от остальных войск своей армии. Где же взять столько сил, чтобы одному полку, к тому же понесшему значительные потери, вести бой с противником, который продолжал вводить в него все новые силы!

Отдать приказ отходить? Нет, этого он не сделает! Пока есть силы драться — такого не прикажет! Быть может, своей стойкостью 676-й дает сейчас возможность остальным полкам дивизии планомерно отойти и закрепиться на новых рубежах...

— Дай мне связь с «Первым!» — приказал командир полка радисту, решив посоветоваться с комдивом и уточнить сложившуюся обстановку.

Верно говорят — свою пулю не услышишь. Не слышал своего снаряда, угодившего прямым попаданием в колокольню, и Джанджгава. Очнулся он на земле...

— В рубашке родились, Владимир Николаевич, — слышался чей-то голос.

«Иван! — узнал он. — Евзанов!»

Язык не слушался, в голове гудело, ноги казались чужими — опять контузия...

В первый раз вражеский снаряд настиг его в конце июня 1941 на мосту через реку Прут в Молдавии. Был он тогда заместителем командира 16-й танковой дивизии по тылу и выполнял особое задание командира 2-го мехкорпуса генерала Новосельского по эвакуации частей корпуса и беженцев на восточный берег Прута. Взрывная волна от разорвавшегося на мосту снаряда опрокинула его в реку. Подобрали Джанджгава переправлявшиеся на лодке бойцы. Сильная контузия повредила слух, недели две он вообще ничего не слышал, но в госпиталь не пошел, носил при себе блокнот с карандашом и с их помощью общался с подчиненными и комдивом. Слух посте-

ленно восстановился, хотя на левое ухо он до конца слышал плохо.

...Полк, не имея связи с комдивом и другими частями, продолжал мужественно сражаться. Но противник с каждой минутой наседавал все сильнее, стремясь поскорее ликвидировать надоевшую ему «занозу», которая продолжала отвлекать к себе часть его сил, выводила из строя живую силу и технику.

И без того сложная обстановка стала еще напряженней. Самолеты противника то и дело нависали над батальонами полка, яростно бомбили его позиции. Отражать их натиск было нечем. В полку почти не осталось артиллерии. Выходили из строя, погибали, не оставляя своих позиций, последние огневые расчеты...

«Где ж твои танки, Борис?» — с досадой думал Владимир Николаевич, вспоминая слова Стуруа о том, что танковый корпус генерала Катукова на подходе.

Но обещанных танков все не было, а ряды бойцов тем временем редели. И не было больше сил сдерживать противника на подступах к занимаемым полком рубежам.

На исходе дня Джанджгава с болью в сердце отдал приказ об отходе на новый рубеж, решив стянуть в район расположенных неподалеку друг от друга деревень Зиброво, Красный Донец, Никольское весь полк, вернее, все, что от него осталось. Собранный воедино, он все же представлял собой силу, способную на какое-то время противостоять врагу.

— Выстоять! Выдержать! — приказывал командир полка. — Скоро подойдут наши танки!

Своей уверенностью он вселял в подчиненных веру в победу в этом затянувшемся кровопролитном бою.

Отходя с боями и заняв оборону на новом рубеже, воины 676-го полка продолжали мужественно отбивать яростные атаки врага. Дрались все, кто был в состоянии держать в руках оружие. Даже полковой писарь Попов с винтовкой в руках ринулся в бой. Двенадцать раз бросался в контратаки батальон Швендика. Большой урон врагу нанесли воины батальона Белоуса.

К исходу дня разведка стала доносить все более тревожные вести — противник смыкал вокруг полка кольцо окружения.

Положение было очень сложным, и Джанджгава решил посоветоваться с комиссаром полка:

— Что будем делать, Иван Иванович?

Они встретились впервые после начала боя. Из сообщения

посыльных майор знал, что Мазниченко, все время находящийся в батальонах, примером личного мужества и бесстрашия подбадривал бойцов, когда им становилось особо туго. После того, как был ранен комбат Концедалов, принял на себя командование его батальоном. Командовал умело, спокойно, но если возникала в том необходимость, шел и на риск.

— Понимаю, отступить не хочешь, — негромко ответил Мазниченко и, помолчав немного, заключил: — Однако медлить дальше, Владимир Николаевич, значит погубить полк.

Комиссар подтвердил созревшее у Джанджгава решение, принимать которое ему так не хотелось. Но иного выхода не было — полк наполовину окружен вражескими войсками. Кольцо это может сомкнуться, и тогда...

Пристально вглядываясь в карту района, которую он и без того уже давно знал наизусть, Джанджгава решил выводить полк в направлении железнодорожного разъезда Студенный.

— Предполагаю, — сказал он Мазниченко, — немцев там еще нет.

Вызвав командира разведзвезда лейтенанта Григория Пилипенко, приказал ему с особой тщательностью разведать дорогу.

Разведчики вернулись гораздо раньше, чем Джанджгава предполагал. Путь на Студенный был свободен.

Под покровом темноты он скрытно снял с позиций подразделения полка и двинул их в путь.

Ему удалось вывести свой полк из окружения, скрытно пройти свыше четырех километров, занять железнодорожный переезд и организовать там круговую оборону.

— От врага-то мы оторвались, — сказал Владимир Николаевич комиссару, устало опускаясь на скамью в тесной комнатенке бревенчатого дома, видимо, принадлежавшего кому-то из работавших на переезде железнодорожных служащих, — но если с рассветом противник нас обнаружит, нам с нашими небольшими силами и большим количеством раненых придется туго. — И, словно утверждаясь в своем решении, неожиданно громко позвал: — Начштаба! — А когда майор Фомин подошел, спросил: — Сколько в полку уцелело раций?

— Две.

— Одну постоянно держать при мне, вторую — при вас. И искать связь со штабом дивизии, с комдивом, с нашими полками! Не будет связи, нам... — он не договорил, не хотел договаривать.

Теперь, когда подразделения полка были собраны воеди-

но, командиры воочию убедились, как ничтожно малы их силы. Фактически, это был уже не полк, а неполный батальон с несколькими уцелевшими минометами и предельно ограниченным количеством боеприпасов. Раненых же было значительно больше, чем бойцов, способных держать в руках оружие. И если на рассвете противник обнаружит вырвавшийся из его цепких лап полк, то...

Сгорбившись от усталости, боец с перевязанной головой терпеливо повторял: «Я — «Сокол», я — «Сокол»...»

У паренька под глазами синие тени, щеки запали. «Девятнадцать ему, не больше. Жизни еще не видел. Увидит ли?..» — думал майор.

— Иван Иванович, — сказал он, присаживаясь возле комиссара, твердым, размашистым почерком писавшего политдонесение в политотдел дивизии, — Алексеева, связиста нашего, надо к награде представить. И всех, кто отличился сегодня в боях.

Только теперь Владимир Николаевич почувствовал, как усталость и напряжение сковали все тело. Он повалился на жесткую железную койку и уснул мгновенно.

Из глубокого сна его вырвал молодой звонкий голос:

— Связь! Товарищ майор, связь!

Подойдя к рации, он надел наушники:

— Я — «Сокол», прием...

С рассветом следующего дня противник, естественно, обнаружил «исчезновение» полка и вскорости настиг его. Целые сутки, до подхода других полков 15-й Сивашской, 676-й героически удерживал оборону, отбивая одну за другой яростные атаки врага и обеспечивая тем самым выход дивизии в отведенную ей командованием 13-й армии полосу обороны. А когда дивизия заняла оборону на рубеже в междуречье Кшени и Олыма, 676-й во взаимодействии с другими полками продолжал драться с гитлеровцами.

Здесь, в междуречье, командование Брянского фронта решило задержать продвижение немецко-фашистских войск на север. Выполняя эту задачу, 15-я Сивашская стрелковая дивизия во взаимодействии с танковой бригадой майора М. Горелова, входившей в 1-й танковый корпус генерал-майора М. Катукова, прочно перекрыла противнику путь на город Ливны с юга и не допустила развития его наступления на северном или, как его тогда называли, на ливенском направлении.

Дорога мужества

ЗАКРЫТА последняя страница романа Т. Буачидзе «Дорога в Детство», а перед глазами все еще стоят строки: «Пройдут годы — десять, двадцать, тридцать. Быть может, исчезнет и память о том далеком, что зовется войной. Все позабудут, что нам пришлось перетерпеть, и этот холод, голод и одиночество покажутся неправдоподобными. Ничье сердце не сожмется от боли, никто не задумается о нашей судьбе, не вспомнит нас... Может, лишь мы, ты да я, оплачем детство наше. И если ты выживешь, и если ты вспомнишь хоть раз, то даже в минуту счастья не поспешишь на две-три слезинки в память об этих днях.

Может, только эти слезы и будут последней данью памяти ушедших, символом той неутихающей боли, которая должна быть в сердцах тех, кто живет после нас и кто продолжает считать себя человеком».

Это исповедь 18-летней Марины Миндели, умершей от голода и болезни в Тбилиси в 1944 году. Образена она к Дато Мизандари — в 21 год он погиб, штурмуя Берлин. Оба они — главные герои романа — воспринимаются не как созданные

воображением искусного мастера образы, а как конкретные живые люди. Да и сам роман показался мне воспоминанием о реально живших в военные годы тбилисцах.

В связи с этим припомнится одна история.

Когда машинистка перепечатавала только что законченную Томасом Манном тетралогию «Иосиф и его братья», она сказала писателю: «Ну, теперь-то я наконец узнала, как все на самом деле происходило». Это и есть вышшая похвала художнику. Прочитав «Дорогу в Детство», я тоже поймал себя на мысли что воспринимаю книгу не как фантазию, сочинение, игру воображения, а как запечатленную в слове реальность, достоверную и точную, не вызывающую сомнений. Порой мне даже хотелось спросить знакомых тбилисцев, не встречались ли им Марина и другие персонажи романа.

И это несмотря на предупреждение автора, что не следует искать прототипы, что вся эта история сочинена им.

Как и всякое неординарное произведение, роман Т. Буачидзе имеет много пластов и измерений. Вычленишь все и рассказать обо всех сюжетных линиях невозможно. Остановимся лишь на том, что показалось наиболее поучительным в этом лиричном, душевном, немного сентиментальном повествовании.

Когда началась война, автору было 15 лет. Вместе со сверстниками он мучительно переживал драматические сводки Совинформбюро, помогал оказавшимся в Тби-

лиси раненым и эвакуированным. И, конечно, рвался на фронт. Тбилиси был далек от военных действий, но очень быстро превратился в прифронтовой город: эвакуированные и раненые, беженцы и солдаты, попавшие сюда на переформирование, быстро наполняли столицу Грузии. Война стремительно неслась к Кавказу. В тбилисской жизни тех лет все переплелось; и хотя продолжали работать театры, устраивались литературные диспуты, люди ходили на службу, переживали вести с фронта, мальчишки и девчонки учились, влюблялись, ссорились, сходились и расходились, выясняли свои сложные, быстро меняющиеся отношения — все понимали, что началась особая жизнь, которой город никогда прежде не жил. Это тонко и точно показано в романе. Автора прежде всего интересует судьба его сверстников, весь роман пронизан пафосом юности, пафосом патриотизма, пафосом преклонения перед теми, кто спас родину в суровую годину: «События военных лет глубоко избородили наши души, отразились на нашем поколении, на еще не наступившем будущем... Лучшие уходили, и уход этот влиял на оставшихся: их осенял ореол ушедших, приподнимая над повседневностью, делая лучше, достойнее».

Прошло 40 лет, и Тенгиз Буачидзе — уже профессор, доктор филологических наук, романист, критик, литературовед — вернулся к поре своей военной юности.

Будущее когда-нибудь будет без нас, — с горечью констатирует автор. Ныне

наступило то будущее, в котором уже нет миллионов, павших на полях Великой Отечественной войны, нет миллионов тех, кто были свидетелями беспощадных военных лет. Если раньше о войне писали непосредственные ее участники, то сейчас все чаще и чаще эту тему стремятся осмыслить те, кто не застал ее или тогда еще был ребенком. Песни, созданные в военные годы, сейчас исполняются нечасто. Их сменили песни, появившиеся в наши дни. В этом отношении показателен интерес к творчеству В. Высоцкого, военные песни которого воспринимаются как творения ее участника. И книга Т. Буачидзе в этом отношении тоже необычна: она восполняет один существенный пробел, о котором мы скажем чуть ниже, и вносит значительную лепту в художественную летопись самой тяжелой войны, которая когда-либо велась на нашей территории.

В романе Т. Буачидзе слилось и военное, и довоенное, ведь война лишь продолжение мира. Роман выходит за пределы повествования о военных годах, о бедах военного лихолетья, о героизме ратного труда. Роман еще и о том специфическом, что было в Грузии — да и во всей стране, разве только в меньших масштабах.

За 3—4 года до начала войны над Грузией пронесся губительный смерч нарушений социалистической законности, позже решительно осужденных партией. Множество преданных делу коммунизма людей, застрельщиков социалистического

переустройства общества, представителей творческой интеллигенции были несправедливо осуждены. Остались их дети, сестры, братья, жены и мужья, соседи, сослуживцы, сратники и противники. Как сложилась их судьба, как отразилась на них война? Т. Буачидзе, если не первый, то, во всяком случае, одним из первых в советской литературе последнего двадцатилетия открыл эту трагическую тему, память о которой всегда жила в сердце народа.

На примере семей Миндели и Мизандари автор показывает, как молодые люди рвались на фронт, как тем самым стремились помочь реабилитации своих отцов, их патриотизму не было предела. Зловещая несправедливость, незаслуженные беды, свалившиеся на них, страдания, усиленные начавшейся войной, придавали им не только большую жизненность, но еще и обостренное, более глубокое и тонкое ощущение жизни. Автор показывает, что эти люди оставались частью советского народа, частью нашего общества, они жили тем, чем жил весь народ. А доносчики, воры, проходимцы, демагоги, принесшие народу столько зла, были отделены от народа незримой китайской стеной, народ не воспринимал их как свою часть и относился к ним с безразличностью и презрением.

Роман Т. Буачидзе вышел еще до XXVII съезда КПСС, когда была декларирована гласность, демократизм, срывание всех и всяческих масок с противников социализма, рядящихся в одежду их сторонников. Многие в рома-

не написано так, будто он создавался уже после съезда, с которого началась пора обновления нашей страны. Вот что такое настоящее, мужественное и честное искусство.

Нравственному максимализму Марины и ее друзей, нравственной чистоте и духовной цельности этих молодых людей, живущих, как сейчас бы выразились, в экстремальных условиях, противостоит «активист районного масштаба» Габгабиа, именуемый соседями товарищем Симоном. Этот мерзавец презираем всеми, но тем не менее он преуспевает и не думает о куске хлеба. «Когда товарищ Симон совершал очередную подлость, никто этому не удивлялся». Никто не удивлялся и тому, что его сын Марклен — такое же убогое в моральном отношении существо, как и его отец. Когда его сверстники мечтали попасть на фронт, он уютно устроился под крылышком отца и, как и отец, норовил что-нибудь да урвать за счет ушедших на войну.

Как бы сурово и саркастично ни были выписаны отвратительные фигуры отца и сына Габгабиа, сколько бы зла они ни принесли честным труженикам, не они определяют направление жизни. Борясь с захватчиками, молодые герои романа сражаются и со всевозможными негодяями и стукачами на своей земле. Все это придает особый драматизм, особую напряженность художественной ткани романа. Т. Буачидзе художник, а не публицист, для него главное художественный образ, художественные ассоциации. И

он использует образ Ильи Чавчавадзе, 150-летие со дня рождения которого наш народ будет отмечать в 1987 году. 70-летний больной старик, которому, как потом выяснилось, оставалось жить совсем недолго, был застрелен четырьмя бандитами. Как поднялась рука у убийц на этого человека, как посмели они тронуть гордость грузинской культуры! Обо всем этом спорили и продолжают спорить разные поколения грузин, представители всех слоев грузинского общества. Семейство Габгабиа из породы этих убийц, они не ведают, что творят, их ничто не в силах остановить — такова бездонная глубина их порочности. Они спекулируют высокими словами так же легко, как товарищ Симон спекулирует хлебом, наживаясь на мытарствах беженцев и земляков. В 1942 году я, трехлетним ребенком, оказался в эвакуации в Закавказье. Всю свою жизнь я помню рассказы моей матери о тех муках, которые перенесли она и многие жены офицеров, эвакуированные в эти края, пока мужья сражались на фронте, муки, перенесенные от всевозможных товарищей симонов, вымогавших у несчастных беженцев последнее. На фоне этих людей какими героическими, какими чистыми и благородными выглядят любимые автором (и мной — читателем) герои этого романа.

В романе упоминаются не только Чавчавадзе и обстоятельства его чудовищного убийства, но и многие иные знаменитые люди и события разных эпох — это

придает «Дороге в Детство» масштабность, демонстрирует соединенность, неразрывность разных исторических явлений и эпох. Любой человек — не только часть истории, но и объект ее изучения, и всякий опыт тут глубоко поучителен и неповторим.

Внешняя канва сюжета, естественно, не дает исчерпывающего представления о книге Т. Буачидзе, тут важна общая атмосфера, мастерски переданная автором. Одним из героев произведения является древний и вечно юный Тбилиси: его улицы, платаны, его Кура, мосты и парки. По этому городу бродят герои книги, и он придает им силу, веру в победу добра, в одоление беды, свалившейся на них и на весь народ. Сколько раз захватчики сжигали, уничтожали Тбилиси, но он вновь оживал, становился краше, переживал всех своих врагов. В памяти остается все положительное, развивающее жизнь, гуманизирующее ее, а все отрицательное память быстро изгоняет — чтобы очиститься от смрада, чтобы идти вперед.

И когда, путешествуя по Грузии, я вижу памятники невернувшимся с войны, а их тут великое множество и большинство из них выполнены мастерски, я не могу не вспомнить героев «Дороги в Детство». В грузинской литературе не так уж много высокохудожественных произведений о минувшей войне (во всяком случае меньше, чем, допустим, в белорусской или украинской, и это вполне объяснимо). Роман Т. Буачидзе

— острый, необычный, в чем-то непривычный — в какой-то степени восполняет этот пробел.

«Я часто спрашиваю себя, почему погибли так рано мои любимые герои — мой Чабриа, моя Марина, мой Дато? Как я допустил, какая необходимость водила моей рукой и пером, как случилось, что я сам не смог перескочить через их смерть и не смог увлечь их за собой?» — вопрошает автор и не дает ответа.

Да и возможен ли он?

Логика искусства сильнее наших индивидуальных желаний, она не терпит насилия, ведь художник следует правде творчества, которая порой сильнее правды жизни. Художник выдумывает правду, которая правдивее самой настоящей правды.

Стилистически книга может показаться разнородной: тут и философские отступления, и сугубо лирические страницы, и обильное цитирование исторических документов, и подробное перечисление деталей быта. Все это соединяется мыслью и сердцем автора, все это — как в хорошо продуманном архитектурном сооружении — подкрепляет, усиливает, подчеркивает и развивает главную идею романа, идею высокого почитания тех, кого нет с нами, кто навеки для нас остался молодым. Книга — реквием по ушедшим.

Конец романа откровенно публицистичен. «...Обращаюсь к вам от имени тех,

чей ранний уход для вас, наверное, столь же печален, как и для меня. Обращаюсь к вам, кому днем и ночью светит звезда добра, звезда юности, прекраснейшие из светил. Пусть ваша любовь заполняет пустоту, которую образует зло. Ведь те, так рано ушедшие из жизни, воплотились в вас, и жизнь ваша есть залог вашего бессмертия. Призываю вас жить и действовать с сознанием, что вы не одни. И как сплываются силы зла для одоления добра, пусть так же тесен будет союз между вами — упорными, бесстрашными, честными, правдивыми... Стоит жить на свете с сознанием того, что пока ты есть, добро неодолимо».

Книга заканчивается светлой, оптимистической нотой, которая хотя бы на мгновение перекрывает горечь отсутствия тех, кто спасал собою родину в час ее тягчайших испытаний, кто вынес все несправедливости и обвинения. Нет, не позабудем мы все горести, выпавшие на долю героев романа, и наши сердца сжимаются от боли и жалости, и мы оплакиваем их уход.

Звонят колокола военных времен. Мы — наследники двадцати миллионов погибших в великой войне — никогда не должны быть глухими к этому тревожному звону. Никогда не должны быть равнодушны к чужой беде, к чужому горю. К любой несправедливости.

Михаил БУЯНОВ



Весна — пора пробуждения и обновления природы, пора новых надежд, новых стремлений. В одну из весен нашего бурного и стремительного столетия, в десятый день апреля природа — или судьба — подарила России замечательного поэта, чей голос, неизменно взволнованный и волнующий, нежен и мужествен, и слово искренне и твердо. Этот поэт — Белла Ахмадулина.

Редакция и редколлегия «Литературной Грузии» сердечно поздравляют юбиляра — своего друга и автора, желают ей крепкого здоровья, долгих светлых лет и новых творческих успехов на радость всем нам.

* * *

Юбилей Беллы Ахмадулиной! Что ей сказать? Как ее поздравить?.. Разумеется, родная Россия, Москва и Ленинград выскажут ей свое всеохватное слово. Но ведь и мы знаем и всегда помним ее исповедальное признание:

Вас ли, о, вас ли, Шота и Важа,
в предки не взять и родство опровергнуть?
Ваше — во мне, если в почву вошла
косточка, — выйдет она на поверхность.

А какие плоды дала эта благодатная почва! Сколько десятилетий ждала, например, поэзия Галактиона полноправного выхода в мир русского стиха, пока не явилась Белла Ахмадулина и не сотворила это чудо! Чудо истинной поэзии, артистизма, а не какой-то там буквальной близости или изысканной манерности. И сразу все, не знающие грузинской речи, уверовали, вернее, поняли, убедились, наконец, что Галакти-

он гениален. А другие грузинские поэты, ожившие под ее пером в иноязычной стихии? Симон Чиковани и Георгий Леонидзе, Тициан Табидзе и Карло Каладзе, Ираклий Абашидзе и Григол Абашидзе, Анна Каландадзе и Отар Чиладзе, Михаил Квливидзе и Тамаз Чиладзе. Какие они разные и как полифонично зазвучали в многоголосом хоре грузинской поэзии в ее русском переводе. А стихи наших абхазских братьев Баграта Шинкуба и Ивана Тарба! А сколько рассказов, очерков, эссе, статей, воспоминаний, даже киносценариев, посвященных Грузии и грузинским писателям, принадлежит Белле Ахмадулиной.

Достаточно взять в руки увесистый том изданной у нас «Мерани» книги Беллы Ахмадулиной «Сны о Грузии», чтобы убедиться — ее с Грузией «родство опровергнуть» невозможно. Она по праву может считаться наследницей Бориса Пастернака по душевному и духовному слиянию с любимой Сакартвело. И в этом она тоже с достоинством продолжает великую пушкинскую и лермонтовскую традицию русской литературы.

У нашего журнала — «Литературной Грузии» — есть особые основания гордиться близостью с Беллой Ахмадулиной. Здесь она печатала не только свои грузинские шедевры — и переводные, и оригинальные — здесь она опубликовала поэму «Сказка о дожде», «Главы из поэмы» о Пастернаке, десятки стихотворений, например, больше половины вошедших в ее последний сборник «Тайна», здесь же впервые была напечатана ее дивная проза о Пушкине и Лермонтове — всего не перечислить. Стихи Беллы Ахмадулиной всегда были укреплением нашей традиционной подборки «Свидетельствует вещий знак».

Лично я могу сказать, оглядываясь на пройденный рядом с Беллой Ахмадулиной путь: с того дня, когда я прочитал первое ее стихотворение, меня покинуло суесловие и вообще суета во всех ее формах. Я не скажу, что до этого я жил в разладе со своей совестью, но амплитуда колебаний у ее границ с тех пор сошла на нет. Мне стало легче жить — «словесность и совесть» стали нерасторжимы.

Близкий друг Беллы Ахмадулиной известный поэт Александр Кушнер, кстати, давний друг грузинских поэтов и превосходный переводчик грузинской поэзии, много отличных стихов посвятивший Грузии, прислал нам к юбилею Беллы стихотворное послание юбиляру. К этому сдобренному легким юмором посланию Александр Кушнер взял эпиграфом слова

из известного предпервомайского стихотворения Бориса Пастернака — «Весенний день тридцатого апреля с рассветом отдается детворе», чтобы затем обыграть эти строчки в своих стихах. В стихотворном послании упомянуты также имена Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и известной большевички Ларисы Рейснер, т. е. людей, которым Борис Пастернак посвящал свои стихи. И очень интересно, что любуясь весенним оживлением и возрождением природы, Кушнер делает знаменательный вывод: «Апрель, не правда ль, та же перестройка. Вы к ней, быть может, Белла, ближе всех!» А все стихотворение Александра Кушнера звучит так:

Весенний день десятого апреля —
В чужом стихе число я изменил,
Чтобы другой поэт в день юбилея
Поздравил Вас, — вот он Вам был бы мил!
Семь односложных слов я здесь поставил
Подряд, набив, как гильзу табаком,
Строку противу русских наших правил,
Пленись английским, что ли, языком?
Как будто это я вчера «Макбета»
Переводил — и Вильям на уме.
Тем и хорош апрель, что снова лето
Нам предстоит, ни слова — о зиме!
Люблю апрель! Весна, головомойка,
Течет с зонтов, карнизов и со стрех...
Апрель, не правда ль, та же перестройка,
Вы к ней, быть может, Белла, ближе всех!
Кто жанр посланья всем на удивленье
Возобновил в наш рыкающий век,
Помог и мне сейчас стихотворенье
Вам написать, взять ноту и разбег.
Марине, Анне он писал, Ларисе
И Мейерхольдам, помните, про грим:
Он режиссеру клялся и актрисе
В любви, он Вас бы свел сегодня к ним.
«Живем, — сказал бы, — нынче в самом деле
В надежде славы, в мыслях о добре,
Весенний день десятого апреля
С рассвета отдается детворе».

Что пожелать поэту в этот день? Ведь День и так идет Белле навстречу с долгожданными и нежданнами дарами — это очевидно и необратимо. Пожелаю Белле Ахмадулиной то-

го, чего она сама себе бы пожелала. И добавлю — не противореча смыслу ее желаний и даже прихотей — хранить и растить в себе тот дух, который она выразила в «Моей родословной» и во всей своей великой поэзии. И я хочу закончить свое приветствие прекрасными словами незабвенного Павла Григорьевича Антокольского: «Ахмадулина прежде всего внутри истории, внутри необратимого исторического потока, связывающего каждого из нас с прошлым и будущим». Доброго пути, Белла!

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ

ДОРОГОЕ ИМЯ

ИМЯ Беллы Ахмадулиной так же близко и дорого грузинскому читателю, как имена Бориса Пастернака и Николая Заболоцкого, Павла Антокольского и Николая Тихонова, внесших огромный вклад в сложнейшее дело русского перевоплощения образцов грузинской поэзии. Да что образцов — почти всей классической и современной поэзии грузинского народа. Белла Ахмадулина вслед за ними встала на службу **грузинского слова** и взяла на себя тяжелый груз переводческого творчества. «Грузинская поэзия всегда будет со мной, — писала она, — я буду служить искусству, которое сближает нас, дарует нам счастье и всех нас украшает».

Хотя, как и всякого истинного художника, ее тоже одолевали порою сомнения, в таких случаях у нее как бы опускались руки... «И все-таки я не знаю, как надо переводить. Если бы мы знали, было бы больше прекрасных переводов Галактиона Табидзе и других», — признавалась она. Но несмотря на трудности и сомнения, неизбежные на этом подвижническом и благородном пути, Белла была воодушевлена желанием показать, явить, выразить своей «родине суровой» «нежность родины чужой», «вместившей на сравнительно малой территории Мкинвари—Казбек, бушующие реки... и удивительный народ, который жаром своей души и пламенем сердца можно сравнить лишь с солнцем!».

Под этим «жаром души и пламенем сердца» в первую очередь следует разуть то, что называется читательским пониманием поэта и освоением им, читателем, сказанного поэтом... «Я часто бываю в Грузии и в будни, не по праздникам... Земля эта придает мне бодрость и здоровье... Чув-

ствую тепло и любовь народа, что очень ценю... Ценю, что меня здесь так гонимают», — сказала как-то Белла в одном из своих выступлений в Тбилиси. Да, она крепко любила Грузию, полюбила с ее прошлым, настоящим, с «гортанной грузинской речью, со всем, что с нею связано, а когда рождается такая любовь, думаю, нечего даже спрашивать — «за что?..»

Если вы перелистаете изданную в 1977 году в Тбилиси книгу Беллы Ахмадулиной «Сны о Грузии», то сразу убедитесь в этой «счастливой любви», услышите «имя земли и любви: Сакартвело». О чем бы ни писал поэт, какую бы тему ни лелеял, вы обязательно уловите сквозящее между строчками это удивительное чувство, а часто на страницах книги мелькают — мало сказать мелькают, они озарены ими — магические слова — «Тбилиси», «Грузия», «Сакартвело», «грузин», «грузинская речь», эту последнюю она чувствует каким-то шестым чувством — «я узнаю грузинское слово из тысячи других слов, я настроила себя на это...»

...Путники, в поисках археологов, на заснеженной сибирской дороге, видят грузовик, водитель которого разжег скудный костер и пытался отогреться. У путников кончился бензин, и они обратились за помощью к водителю грузовика, но... но и он оказался в таком же положении. Зато этот водитель, грузин, у которого иссяк бензин, но не иссяк грузинский оптимизм, делится с ними припасенной на «черный день» бутылкой кахетинского вина. Неопишуемой радостью наполняет эта встреча Беллу Ахмадулину. Перед ее мысленным взором «возник и поплыл... город, живущий в горах, разгоряченный солнцем, громко говорящий по утрам и не утихающий ночью», и потрясенная этим видением, она замечает: «Не знаю, что было мне в этом чужом городе, но я всегда нежно тосковала по нему, и по ночам мне снилось, что я легко выговариваю его слова, недоступные для моей гортани»... Вот только такие благородные мысли, движения души и сердца, возникают у поэта, доброжелательно расположенного к нам, даже за тысячи километров от Грузии, в далекой Сибири, при случайной встрече с одним из наших соотечественников.

«— Симон и Марика! (Это Чиковани). Павел и Зоя! (Это Антокольские)... Был ли мне дан из другого, предстоящего возраста, что это беспечное сидение впятером вокруг стола и есть счастье, быстролетящая драгоценность обстоятельств, что больше мне так не сидеть никогда?» С печалью вопроша-

ет она об этих навеки улетевших, уже невозвратимых счастливейших минутах, которые каждому из нас в свое время довелось провести и испытать при встрече с любимейшими из любимых людей. И для меня, и для Беллы такой счастливой минутой жизни было время, проведенное в обществе Симона и Марики Чиковани, время, которое казалось таким незыблемым и вечным в силу нашего — моего и Беллы — молодого, склонного к заблуждениям, возраста! С Беллой я встрети-лась впервые в семье Чиковани. Нас было много, но в памяти из того далекого вечера остались только Гурам Асатиани, Манана Кикодзе и еще, пожалуй, несколько человек. Марика Чиковани мне многое рассказывала о Белле уже после кончины Симона Ивановича. Он очень хотел, чтобы мы — я и Белла — еще больше сблизилась. (Семья эта вообще была призвана и для этой доброй миссии). Между прочим, и с Павлом Антокольским, и с Николаем Тихоновым меня познакомил Симон Иванович в один из их приездов в Тбилиси.

Русский читатель с моими стихами впервые ознакомился по переводам Беллы Ахмадулиной. Мой первый русский сборник, изданный в Тбилиси, целиком состоял из ее переводов.

На вечерах грузинской поэзии в Москве Белла всегда рядом с нами, и слушатели главным образом по ее переводам знакомятся с нашим творчеством.

Обычно говорящая тихо, почти шепотом, на сцене она пре-ображается — каждое, довольно громко произнесенное ею слово, которое она выговаривает с едва заметной напевностью и только ей свойственной неповторимой интонацией, навсегда западает в душу слушателя.

Помню, как-то в один из ее приездов вместе с друзьями мы побывали в Мцхета. Беллу сопровождал ее муж, замечательный художник Борис Мессерер (Белла и его «заразила» любовью к нам!), с благородной личностью которого меня связывают самые теплые чувства. Стояла ранняя весна, и желтые цветы уже покрывали поляну. Белла собирала их в маленькие букеты... Я смотрела на нее и чувствовала, что... даже теперь, здесь, в Грузии, находясь в Мцхета, она... мечтала снова быть в Грузии и в Мцхета!

Моя дорогая и любимая Белла! От всей души приветствую Вас и поздравляю с юбилеем, желаю здоровья и долгих лет жизни, или, как у нас говорят, мравалжамьер! Благодарю за все, что сделано Вами для нас (и лично для меня)... Только люди такой большой внутренней культуры, как Вы, способны увидеть и оценить культурные достижения другого народа и

воздать им должное. Да множатся у моей испытанной многогоря и бед родины такие друзья, как Вы, Белла!

Анна КАЛАНДАДЗЕ

ПИСЬМО БЕЛЛЕ

Дорогая Белла!

Я пишу тебе из города, из страны, кровь которой, я знаю, с давних времен перемешалась с твоей кровью. Меня окружают твои горы, подо мной протекает твоя река, твои братья и сестры великодушно привечают меня. Мне кажется, что отсюда мои поздравления тебе должны прозвучать не то чтобы высокопарнее, но значительнее. С высоты моего возраста твой юбилей — всего лишь обозначение крохотного отрезка от бесконечного пути. дарованного тебе природой.

Мой давний друг, я очень люблю тебя, хотя, наверное, слишком неумело, коряво и эгоистично, но тем больше дорожу твоей благосклонностью, трепетной и верной.

Будем жить по заветам этой земли, принимая сегодняшний день и ничего не забывая из минувшего; не будем гадать, во что отольется наш труд, что останется, но даже если ничего, самой малости, подобно крестику от царицы Тамар, все равно мы уже растворены в природе.

Я знаю, что жизнь бесконечна. Я знаю, что все преходящее отлетит и забудется, но русского языка река и водопад грузинской речи будут клокотать в нашем горле, покуда Земля и Небо не возвратят нас в свое лоно.

Тбилиси.

Булат ОКУДЖАВА

ГОЛОС, «РАВНЫЙ ДУШЕ»

Нас осыпает золото улыбок
На станции метро «Аэропорт» —

это когда она поднимается по лестнице, держа за руки Елизавету и Анну. Осенью прошлого года, когда в зале ЦДЛ на ее вечере мест уже не было и, победив сурового администра-

тора, она усадила нас на сцене, я видел это золото улыбок и думал: господи, как же хорошеет человек, когда ее слышат и видит! А видит ли это Белла? Бряд ли. Надо бы ей сказать. Напишу письмо...

Письмо не написал, подумав, что она и так знает — и знает больше того, что я бы ей сказал.

Она родилась в Соловьином саду, с голосом, «равным душе». Ее стихи — путь на волю, за ограду, которая держит ее шипами и когтями «лишних роз». Ей дарован талант подробнее и глубже нас видеть красоту, не тая любви и умиления. Где-то у Пастернака сказано: не только тело — сами ткани его прекрасны. Ни в каких поэтиках это не записано — такой взгляд на жизнь совершается поэтическим подвигом. Потребна отвага — столько лет видеть и тем возбуждать — прекрасное и воспитывать наше зрение. Эти уроки начались еще у той давней «будки с газированной водой» — с детского созерцания, как она, вода, дышит, — и продолжают по сию пору. Так вышло, что самого поэта уроки созерцания ведут к участию в бедах человеческих. Кто к чему расположен. Когда она читала стихи о ленинградской больнице, у меня сердце сжалось при словах напутствия — тому, кто и без того сиротел, а теперь остывает одиноко в морге, — за ним никто не придет, но строчки Беллы его проводят. Это надо ценить, помня, что неоплаканый все еще ждет слез — как непогребенный ищет могилу.

Она покинула Соловьиный сад — вынесла его с собой. Так бывает: выходят из моря и на себе это море выносят. Но бывает так редко... Мое давнее движение: не выходи за ограду, здесь слишком все не так — даже не та «вьюжная площадь» — глухой темный исход! Довольно того, что ты просто есть... Движение напрасное: совершается судьба русского поэта и ложится — уже не впервые — на женские плечи.

Остается только твердить:

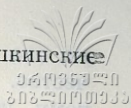
Я еще пожелезней тех! —

надеяться на эту силу... Что ж, я слышал:

Вы безобразны — дайте мне пройти!

Способный к бесконечному умилению — способен и к отвращению. Есть у нее убийственные стихи — стихи презрения к черни, равные попытке встать ей вперекор, но не дать растоптать человека, чей «высокий лик»... Обрываю фразу и чи-

таю -- как перебирают четки -- пословно — пушкинские стихи:



О люди! Жалкий род...

Прекрасная случайность: они кончаются словами «умиление». Выходит еще одна пластинка Высоцкого; не знаю, что написала Белла на ее обложке, но помню ее стихи на смерть поэта. Это стихи о новом в истории состоянии народа: он уже не станет толпой и не даст обратить себя в толпу.

Да, она, Белла Ахмадулина, это уже видит. Так созерцание «незначущих мелочей» и бесконечная прекрасная дробность ее мира гармонически отвечают неожиданному, «неженскому» дару видеть жизнь в целостности ее громадных составов и принципиальных движениях истории.

Народ оплакал Высоцкого — он улыбается Белле Ахмадулиной!

Владимир ЛЕОНОВИЧ

КРАСОТА И ДУХОВНОСТЬ

«Я добрую благодарю судьбу»

Б. Ахмадулина

БЫТЬ красивой, элегантной женщиной — дело везения: такую родилась. Можно к тому же быть эрудированной, интересной собеседницей — признак хорошего воспитания. Все это вместе делает личность привлекательной, но не более. Белле, как бы в дополнение, дарована природой еще и духовность. Это невозможно приобрести, такой надо родиться. Белла — филигранно интеллигентный человек, и у нее соответствующее отношение к людям, явлениям, к миру. Это — источник ее поэзии. Ее интеллигентность проявляется не только в скромности, безграничной доброжелательности и жизнерадостности, но и в возвышенной простоте, за которой начинается ее личное и куда другим нет доступа.

Один мой друг, известный поэт, как-то невзначай сказал мне: настоящий поэт приходит в мир с собственной трубой и всю жизнь трубит о себе. Похоже, это действительно так. Но это отталкивает, а когда такой поэт одержим еще и манией величия, общаться с ним очень тяжело. Белла пришла в поэзию с собственной, богами только для нее сотворенной лирой,

но она никогда не трубит о себе. За нее это делает ее творчество. Такова Белла и в будничной жизни, и вовсе не потому, что не знает себе цену. Скорее потому, что знает.

В прошлом о Белле писали мало. Ныне, по инерции, тоже мало. Больше — вскользь, мимоходом. Тому много причин, разных. Думаю, критикам нечем крыть, а восторгаться противопоставлено. Осмелюсь сказать, что в прошлом, в некотором смысле, была противопоставлена и популяризация самой Беллы. Может быть, потому, что она не в меру смело пользовалась своей свободнорожденностью. И еще — мало кому по вкусу писать панегирики о человеке, не имеющем влиятельной должности, полезных связей. Вместе с тем я не встречал человека, который без доброго блеска в глазах произносил бы имя Белла. Спасибо всем, но будем справедливы и хотя бы половину всеобщей признательности к ней отнесем за счет личных качеств самой Беллы. Она неподражаема как поэт, как женщина, как личность.

Везение чрезвычайно важно в жизни человека. Лично я удивительно везуч, но самым большим подарком судьбы считаю то, что довелось жить в одно время вместе со многими яркими, талантливými людьми, и в том числе — и с Беллой Ахмадулиной.

Чабуа АМИРЭДЖИБИ

ХРОНИКА

ЛАУРЕАТЫ НАЗВАНЫ

За опубликованные в 1986 году лучшие произведения секретариат Союза писателей Грузии присудил свои ежегодные премии:

Медее Кахидзе — за стихи, опубликованные в журнале «Дискари»,

Мерабу Элиозишвили — за рассказы, напечатанные в газете «Литературули Сакартвело»,

Тамазу Чиладзе — за пьесу «Птичий рынок», опубликованную в журнале «Сабчота хеловнеба»,

Серги Чилая — за литературные статьи, опубликованные на страницах газеты «Комунисти»,

Гураму Панджикидзе — за публицистическую статью «Завтра будет поздно», напечатанную в альманахе «Критика».

Сдано в набор 19.03.87. Подписано к печати 19.05.87 г. Формат 84×108¹/₃₂. УЭ 10738. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл. печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5 000. Заказ 743. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

КОНТРОЛЬ

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Резо АМАШУКЕЛИ (заместитель главного редактора),
Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз
АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ,
Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА,
Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТ-
КИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь),
Михаил ЛОХВИЦКИЙ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,
Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Серги ЧИЛАЯ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного
редактора — 93-13-57, ответственный секретарь —
93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и
93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию»
обязательна.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КИП ГРУЗИИ

Тбилиси, ул. Ленина, 14.



65 კ.

87-356

ИНДЕКС 76117

ეროვნული
ბიბლიოთეკა

26-87

